

Annotation

В книгу Галины Щербаковой вошли повести, ставшие бестселлерами. Они о жизни подростков: о радостях и невзгодах первой любви, о сложных взаимоотношениях с родителями и учителями, о настоящей дружбе и предательстве... Рассказанные автором истории заставляют читателя улыбаться, плакать, размышлять о жизни и о себе.

- [Галина Щербакова](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Галина Щербакова

Вам и не снилось

Таня, Татьяна Николаевна Кольцова, уже восемь лет не была в театре. Билеты, которые возникали то стихийно, то планоно, она сразу же или в последнюю минуту отдавала. И успокаивалась.

А тут не спасешься — ее бывший театр пригласили на гастроли в Москву. Это — ого-го! — какое событие! Она знала: там, в театре, уже готовят представление к наградам и званиям, сшиты новые костюмы, актрисы срочно красят волосы в модный цвет.

Возбужденные, все в ожидании необыкновенных перемен, с блестящими глазами, бывшие подруги нашли ее в Москве и категорически заявили: не придет на премьеру — вовек не простят...

— У нас такая «Вестсайдская», что вам тут не снилось...

«Не спасись», — подумала Татьяна Николаевна.

Целый день она ходила сама не своя. Идти в театр, где началась и кончилась твоя карьера, идти, чтобы переживать именно это, независимо от того, что будет происходить на сцене, а потом говорить какие-то полагающиеся слова, и вместе сплетничать после спектакля, и отвечать на тысячу «почему»...

«Ведь школа нынче — ужас! У детей ничего святого! Неужели не было более подходящего варианта? Это что, жертва?»

Таня заранее знала все эти еще не произнесенные слова. Но дело было даже не в них. Ей действительно не хотелось идти в театр. Не хотелось смотреть эту потрясающую «Вестсайдскую», стоившую Таниной подруге Элле переломанного ребра: они там по замыслу режиссера все время откуда-то прыгали.

— Ничего, срослось, как на собаке, — сказала Элла. — Но я теперь не прыгаю. Я раскачиваюсь на канате.

И говорилось это так вдохновенно, и было столько веры в этот канат, и прыжки, и в «гени-аль-ного!!» режиссера, что Таня подумала: с тех пор, как она стала учительницей, такая самозабвенная детская вера ее уже не посещает. Умирая, мама ей говорила: «Мир иллюзий тебя отторг. На мой взгляд, взгляд старой рационалистки, это не так уж плохо... живи в жизни... А школа — это ее зерно. Всегда, всегда надежда, что вырастет что-то стоящее... Не страдай о театре. Ты бы все равно не смогла всю жизнь говорить чужие слова...»

Мама умирала два месяца, и таких разговоров между натисками боли было у них немало. И мама все их отдавала Тане. Ломились к ней ее коллеги по научной работе, ее аспиранты, соседи — не принимала. Объясняла Тане:

— Я тебя так мало видела. Это у меня последний шанс. Мое счастье было в работе. Это не фраза. Это на самом деле. Что такое модные тряпки, я не знаю. Я не знаю, что такое материнство, — с трех месяцев тебя растило государство. Я не путешествовала, не бывала на курортах, не обставляла квартир гарнитурами, я ни разу не была у косметички. Мне даже любопытно — это не больно? Все беременности были некстати — не сочетались с моим делом. Я даже не плакала, как полагается бабе, жене, когда разбился твой папа. У меня на носу тогда была защита докторской. Поверишь, в этом была какая-то чудовищно уродливая гордость: у меня несчастье, а я не сгибаюсь, я стою, я даже иду, я даже с блеском защищаюсь...

А Таня видела: она и сейчас гордится этим. В маме это было главное — преодоление всего, что мешало ей работать и ощущать себя большим, значительным человеком. И как ни тяжело было Тане, как ни любила она маму в эти последние дни, мысль, что и теперь своими иронично-афористичными речами мама прежде всего сохраняет себя, а уж потом хочет что-то разъяснить, приходила не раз. И тогда она мысленно спрашивала: может, именно в маме умерла великая артистка? А она ее так жалко, бездарно подвела, не сумев сделать то, что предназначалось ей? Иначе зачем так настойчиво? С такой страстью?

— ...Какая ты Нина Заречная? У тебя же аналитический ум и ни грамма рефлексии. Ты антиактриса по сути.

Мама утешала и утешалась. Ведь тогда прошел всего год, как Таня ушла из театра. И последние слова мамы были: «Живи в жизни».

И все было нормально эти семь лет, пока не свалился на голову театр из прошлого со своей «Вестсайдской историей». И мама вспомнилась в связи с ним. Она же: «Не ходи в театр, плюнь! Пока не освободишься от комплекса. Читай! Это всегда наверняка интересней — первоисточник, не искаженный чужим глупым голосом».

Родилась спасительная мысль — раз уж идти, то она возьмет в театр свой класс. Правда, она его еще не знает, ей дают новый, девятый. Но уже конец августа, списки утрясены, через ребят, которых

она учила в восьмом, можно будет собрать человек десять. Убьет сразу двух зайцев. Посмотрит «на материал», с которым ей придется работать и спасется от последующего после спектакля банкета, где надо будет всех безудержно хвалить, сулить звания и одновременно убеждать под сочувствующие и неверящие взгляды, что она вполне довольна работой в школе. Она скажет: «Я здесь с классом. Я с вами потом».

Таня пригласила в школу Сашку Рамазанова. Он пришел в грязных джинсах и рваной полосатой тенниске.

— Я думал, надо что-нибудь покрасить или подвигать, — сказал он. Театральная идея его не увлекла и насмешила. — Ну, Татьяна Николаевна! — картинно воскликнул он. — Пригласили бы на Таганку или в «Современник»... А какой нормальный человек пойдет смотреть приезжающую на показ периферию... Этот номер у вас не пройдет. Гарантирую...

— Не будь снобом, — сказала Таня. — У них молодой гениальный режиссер, и весь спектакль — сплошная новация. К тому же там хорошая музыка.

— Разве что... Ладно... Попробую. Может, от скуки народ и соберется.

— Напрягись, — сказала Таня. — Мне очень хочется пойти с вами.

Сашка посмотрел на нее пристально. Поведение учительницы было, на его взгляд, лишено логики: тащиться в театр, да еще в неокончившиеся каникулы, с классом? Больше не с кем? Но Татьяна Николаевна, хоть ей уже за тридцать, женщина вполне. Сашка охотно пошел бы с ней сам, единолично. Он высокий, здоровый уже мужик, детвора во дворе зовет его «дяденькой». Так что вместе они бы гляделись... Но она, милая их Танечка, тащит с собой класс, что ненормально и противоестественно, хоть сдохни. Но просьба есть просьба, поэтому Сашка обещал обзвонить и обежать народ в ближайшем округе и человек десять подбить «на эксперимент».

— Но если будет дрянь, — сказал Сашка, — я не отвечаю. И буду просить у вас защиты от гнева народов. Побьют ведь!

Спектакль оказался никаким. Что называется, не в коня корм. Может, новый режиссер и был талантливым, что-то он напридумывал,

но актеры!.. Ни одного, ну просто ни одного нефальшивого слова. И от этого придуманная форма торчала обнаженным каркасом, то ли оставшимся от пожара, то ли брошенным строителями по причине нехватки материалов.

Танины ученики умирали со смеху. Их надо было просто убирать из зала за нетактичное поведение.

— А я предупреждал, — многозначительно сказал Сашка. — Я верил и знал: будет именно так.

Вообще он держался не как ученик, а как Танин приятель. Таня подумала: пожалуйста, проблема. Надо сразу ставить его на место. Хороший ведь мальчишечка, просто от роста дуреет... И посмотрела на его дружка — Романа Лавочкина, — еще выше. Господи, куда их тянет! Но с Романом ничего подобного не будет, он мальчик книжный. Вот и сейчас он:

— Татьяна Николаевна! А как проверить — не был ли Шекспир трепачом? Я к чему... Современное искусство о любви — такая брехня, что если представить, что оно останется жить на пятьсот лет...

— Не останется, — сказал Сашка. — Не переживай.

— Теперь любовь только пополам с лесоповалом, выполнением норм, общественной работой...

— Сейчас ты смотрел любовь пополам с расизмом, — сказал Сашка. — Если тебя смущают только примеси в этом тонком деле, то их было навалом и у древнего человека. Чистой, отделенной от мира любви нет и не может быть.

— А я не люблю винегретов, — ответил Роман. — Вот почему меня волнует правда о Шекспире.

— Без примесей только секс, — с вызовом выложил Сашка и посмотрел на Таню: «Как вам моя смелость? Мой образ мыслей? Широта воззрения?»

Девчонки гневно, но заинтересованно завизжали.

— Скажите ему Татьяна Николаевна! Скажите!

— Я согласна с Сашей, — сказала она. — Любовь всегда бывает в миру и среди людей. Это жизнь в жизни («Мама!» — печально вздрогнуло сердце).

— Понял? — Сашка хлопнул Романа по спине. — И будут тебе из-за любви вредные примеси в образе двоек, скандалов дома, а потом — что совершенно естественно — будет лесоповал...

— Видел я такую любовь в гробу и белых тапочках, — ответил Роман. — Любовь сама по себе целый мир. Должна быть такой во всяком случае.

Расходились по-доброму. Уже дома Таня подумала: интересный парень Роман. А какие у нее девчонки? Она толком их и не увидела. Правда, против секса они завизжали дружно, что ни о чем еще не говорит. Это вполне может оказаться жеманством, а не целомудрием, лицемерием, а не добропорядочностью.

...А потом, в бессонницу, снова пришла к Тане мама. Она села в ногах в своем старом-престаром махровом халате и сказала своим сломленным болезнью голосом:

«...Я все думаю о любви, Таня! Это невероятно, сколько я о ней думаю. Мы поженились с папой перед самой войной, и у нас была возможность поехать на пару недель к морю. Мы отказались. Папа из-за каких-то цеховых дел, я из-за ремонта в институте. Без меня, видите ли, не могли покрасить наличники. И сейчас я думаю о том, как я не ходила с папой босиком по пляжному песку, как он не растирал мне спину маслом для загара. Понятия не имею, было ли тогда такое? Как мы не целовались в море, в брызгах... Сплошное НЕ... Недавно у одной писательницы прочла абзац о поцелуях. Ей не нравится, как теперь целуются: откровенно, бесстыдно... А мне нравится... Я бы так хотела... Я буду думать о любви до самой смерти... Ах, черт, как не хочется умирать! Что за судьба у нас с отцом — он в тридцать семь, я в сорок семь... Вся надежда на тебя, Танюша. Чтоб ты жила захлеб за нас троих...»

Мама была всю жизнь поглощена делами института, делами лаборатории, и такая вот тоскующая о пляжном песке женщина становилась для Тани непонятной и даже чужой. Только на похоронах, среди венков и соболезнований, среди невероятно большой толпы вокруг такой маленькой, почти невесомой женщины, Таня вновь обрела ту маму, которую всегда знала, любила и побаивалась.

Почему же так получилось, что теперь — и чем дальше, тем чаще — в ногах ее садилась женщина в махровом халате, тоскующая о любви?

Таня знала ответ: мать приходит, потому что дочь не оправдала ее надежд. Она не живет захлеб, за троих. В сущности, у нее, как и у мамы, в жизни есть только одно — работа.

Первое сентября полагается считать праздником. За годы работы в школе Татьяна Николаевна научилась понимать и ценить многое в школе, но первосентябрьское ликование ее всегда выводило из себя. Цветы, фотоаппараты, шефы с завода с тоскующими глазами, представители вышестоящих организаций, прячущие за приветливостью тайный инспекторский взор, суতোлка, нервы, а в результате обязательно пустые уроки, потому что после всего на «отдать» и «получить» уже просто ни у кого не хватает сил.

И в этот раз она до последней минуты не выходила на школьный двор, наблюдала суету из окна. Увидела Сашку, без единой книжки, но с газетой. Он тряс ею над головой и собирал вокруг себя народ. «А! — подумала Таня. — У него рецензия на „Вестсайдскую историю“. Она ее прочла вчера.

В рецензии было все: «Нервная ткань формы на аспидно-черном фоне...» «Пластичное страдание» и «бьющая наотмашь символика». Были эпитеты «незаурядный», «мыслящий», «ярко индивидуальный» и прочее. И сейчас, глядя, как Сашка читает ребятам рецензию «Гимн любви», она вдруг поняла: первое сентября она не воспринимает именно потому, что оно ей напоминает театр, день «сдачи спектакля». Там тоже ходят переполненные ответственностью инспектора от культуры и смущенные непривычностью положения шефы. Таня так обрадовалась, разобравшись наконец в своей первосентябрьской идиосинкразии, что тут же пошла во двор, туда, где громко читался «Гимн любви».

Те, кто ходил с ней в театр, бросились навстречу. Остальные смотрели со стороны. Таня почувствовала легкое недоумение от образовавшегося неравенства в отношениях. «Это ничего, — подумала она. — Утрясем».

— Оказывается, — сказал Сашка, — мы, Татьяна Николаевна, эстетически не развиты. Спектакль-то — штука! А мы смеялись, как лошади...

— Классический пример выдавания желаемого за действительное, — объяснял Роман. — Рецензент не дурак. Он написал о том, что могло бы быть, если бы из этого что-то вышло...

— Умники! — фыркнула Алена Старцева. Она хотела привлечь к себе внимание, потому что подстриглась и никто еще ничего не сказал

по этому поводу. Алену Таня знала по восьмому классу.

— Тебе идет стрижка, — сказала она ей. И Алена вся засветилась.

К этой девочке было сложное отношение, но Таня с ней ладила. Сейчас ее волновало другое: новенькие. Те, что пришли из новостроек. Восемь лет в одной школе, девятый в другой. Это всегда сложно. И сейчас они в стороне. В театр не ходили, рецензию не читали, реплики Сашки и Романа до них не доходят... Сколько таких? По списку десять. Десять и есть. А за их спинами, наверное, родители. Смотрят настороженно, готовы защищать своих хоть и больших, но все-таки детей. Вдруг не так встретят!

И тут истошно, театрально зазвенел звонок. Пока шли приветствия через мегафон, Таня разглядывала своих ребят. Ей полагалось уйти туда, на школьное крыльцо, и взирать на все с полагающейся высоты, но она осталась у ограды, ближе к «новеньким», на лицах у которых от первых же речей появилось выражение умиротворенной скуки: в новой школе начинается, как в старой. Тоска...

Таня уже привыкла к тому, что все дети теперь очень большие. Но этот ее класс был прямо-таки великанский. Юбочки из модной замши — директриса добилась для старшеклассников «вольной одежды», пока не придумают что-нибудь посовременней, — так вот юбочки из модной замши трещали на туго обтянутых бедрах девчонок; пятки стыдливо свисали над тридцать девятым размером босоножек, колени, грудь, губы — все было откровенно и напоказ. И парни тоже ничего себе стропила. Все по метр восемьдесят — девяносто, но худы-ы-е! Ни одного мальчишечьего румянца на класс, все как из голодного края. Таня однажды поинтересовалась у врача — отчего, мол? Та махнула рукой: «Все в порядке. Худые? Дольше будут жить. Бледные? Это пламенный привет от мерцающего телевизора. Девочки другие? Они уже сформировались. Ясно? И вообще: чего вы волнуетесь? Все равно в основе своей это поколение гипертоников, язвенников, сердечников. Других теперь не рожают. Не умеют. Потому что кто рождает? Гипертоники, язвенники, сердечники...» Их школьный врач — большая оптимистка. После разговора с ней ощущаешь радость обладания двумя (а не одной) ногами, умением откусывать и пережевывать, испытываешь благодарность к грудной клетке, что она крепкая, костяная.

В микрофон громко откашлялся шеф.

— Давай, пролетариат, давай, произнеси слово, — сказал Сашка.

Девятый захихикал. Таня подумала: директриса потом ей скажет: «Ваши, деточка, вели себя хуже всех, потому что — как они говорят? — им хотелось выпендриваться перед вами. Зря вы с ними стояли».

Она подошла к Сашке и встала рядом. Сашка приставил к своему рту кулак и потыкал им в зубы. Делай после этого замечания. А Роман вообще сидел на камне и перечитывал рецензию. С высоты своего роста заглядывала в газеты Алена — от Романа она не отходила, делала вид, будто ей тоже интересно, что там написано. Типичная здоровячка, она была чем-то похожа на актрису Нонну Мордюкову периода «Молодой гвардии» и страшно этим гордилась.

Потом, вспоминая этот первый день, Таня была убеждена: Юльки среди новеньких не было. Ведь она даже их считала, по списку все сходилось, а Юльку она не разглядела.

Митинг закончился, и все пошли по классам. Таня довела своих до двери, пожелала ни пуха ни пера, услышала от Сашки «к черту» и пошла на уроки. В девятом в этот день у нее часов не было. И слава Богу, пустые, ох пустые эти уроки первого сентября. А день выматывающий...

Таня медленно брела домой и думала: вот и еще один год начался. Надо будет знакомиться с родителями, надо будет забрать из химчистки свой темно-синий костюм, скоро станет прохладно, и он ее снова надолго выручит. Надо будет поговорить с Эллой. Сказать: пусть не очень страдает, если уедет режиссер. Ребра будут целее. И вообще пусть выходит замуж за своего автомеханика. Не принцесса! Правда, подруга спросит: «А сама? Живешь в Москве в изолированной двухкомнатной квартире, да только свистни...» Таня знала, что все в конце концов кончится разговором о квартире и о замужестве, поэтому-то и избегала подругу. Элла напоминала маму. Та тоже, за два года до смерти, получив наконец изолированную квартиру, все не могла прийти в себя от свалившейся на нее роскоши. Маму потрясали квадратные метры и возможность закрыть дверь в своей комнате; санузел, куда можно было войти в любой момент и где пахло дезодорантом.

Дома Таня расставила цветы, с которыми вернулась из школы, хотела немедленно сесть за письменный стол, но силой увела себя на кухню. Это же типичная патология: после работы сразу за работу, тем более что завтрашний урок у нее в девятом — вводный. Она любит его, она на нем — нелепое сравнение! — как торговец-зазывала, раскрывает перед людом «товар» — литературу XIX века, — ах, чего тут только нет, и все бесценно, никаких денег не хватит, но она все отдаст за малую толику, за каплю интереса. «Ничего себе малая толика, — подумала Таня, бесцельно трогая маленькие беленькие кастрюльки на полке. — Поесть, что ли?» Торговец-зазывала звенел в ней, вертел ею, как хотел, и она плюнула на беленькие кастрюльки. Таня вернулась к письменному столу, и мама укоризненно посмотрела на нее с портрета.

Но зря смеялся над ней торговец-зазывала. Таня вдруг почувствовала, что «торговых рядов» литературы она завтра строить не будет. Она расскажет им о другом. О том, что они целый год будут говорить о любви — такой у них материал.

Потом, через время, она вспомнит, как ушла от маленьких кастрюлек к столу, как, перегоняя друг друга, теснясь, подкатывали к горлу еще не высказанные, просящиеся на волю слова. Как подчинилась она внутренней силе, заставившей ее поломать апробированный, симпатичный план урока, который столько лет ее не подводил. И Таня потом скажет: «Это я во всем виновата. Я их так настроила». А пока она делала торопливые заметки, радуясь ощущению откровения: как это ей, тупице, раньше не пришло в голову, что все ее уроки о любви? Она им покажет «примеси в виде лесоповала». Ах, Боже мой! Как им много надо объяснить...

Она работала до ночи, а когда легла, на краешек кровати села мама:

«...Я бы не взялась на твоём месте учить людей любви... Что ты о ней знаешь? Все книжное, книжное... Ты наркоманка. Фу!» Мама зло рассмеялась, но ушла быстро. И это было хорошо, правильно.

— Ну и Танечка! — сказал Сашка, когда они с Романом возвращались домой.

— Будем изучать любовь.

— Она смешная, — ответил Роман. — Ей кажется: она придумала хитрый ход. А ведь ежу ясно, что она — Иван Сусанин и заманивает нас в дебри, чтобы спасти от секса. Между прочим это ты ее вынудил своей солдатской прямоотой.

— Мы уже не дети, — басом сказал Сашка, — чтобы нас водить за нос.

— Ты все-таки балда, — беззлобно сказал Роман. — При чем тут «за нос»? Я сказал — в дебри. В чащобу духа. А секс, он где? Он на опушке.

— Ну, знаешь, — ответил Сашка, — если он на опушке, то чего я пойду в дебри? Я что — дурак?

— Не прикидывайся скотом, — сказал Роман. — Поэтому и пойдешь за Танечкой, потому что она Сусанин. Это как пить дать... И еще она девушка обаятельная, за ней приятно идти...

— Смысла не вижу...

— В чем?

— В дебрях.

— Это, солдатик, называется нравственным воспитанием, — засмеялся Роман. — Запомни.

— Как тебе новенькие? — перевел на другую тему Сашка. — Помоему, серость...

— Пусть живут, — великодушно разрешил Роман. — Мне вообще кажется, что сейчас все люди на одно лицо... Знаешь, как заметил? Перестал различать дикторш по телевидению. Все с глазками, все с носиками, все с волосиками, и никакой разницы: кто есть кто. А потом огляделся — батюшки, все люди не просто братья, а однойцевые близнецы.

Сашка подозрительно посмотрел на Романа. На него всегда надо так смотреть. Он «прикольный» парень. Такое заявление об одинаковости человечества вполне может быть задуманной провокацией: вызвать Сашку на разговор, в котором он ни бе ни ме, а Роман всю проблемку обсосал и обдумал до зернышка.

— Есть индивидуальности, — пробурчал Сашка.

— Их все меньше, — сказал Роман. — Очень долго не было ситуации, при которой личность проявляет свой максимум. Войны там, голода, оледенения... Все живут одинаково, и все ставятся похожими друг на друга...

— Ну ты даешь! — разозлился Сашка. — Все живут одинаково? Где ты это видел? Ты что — дурак? У одних машины, у других — от полочки до полочки, одни ничем не гнушаются, а другие всю жизнь в трамвае стоят, потому что стесняются сидеть. Одни верующие во что-то до тошноты, другие ни в Бога, ни в черта...

Роман скривился.

— Нельзя же понимать все буквально... Во всеобщей одинаковости тоже градация от нуля до ста, к примеру. Все, что ты говоришь, сюда укладывается. Просто, чтобы стать личностью, надо выйти за эту градацию.

— И что сделать?

— В том-то и дело, что когда ищешь, что сделать, это тоже поиски внутри градации. Что может придумать ординарный человек?

— Ну знаешь, войны я не хочу, — сказал Сашка.

— А я хочу? Но машина даже в экспортном исполнении — тоже пошлость.

— Так полети в космос!

— Мне это неинтересно, — с вызовом сказал Роман. — Понимаешь, меня всерьез гложет...

Сашка пожал плечами. Конечно, он мог сказать, что когда у человека нормальный, непьющий отец и заботливая мать, когда у него никаких проблем с братьями и сестрами, когда рубль в кармане всегда, а иногда и трояк, то, конечно, пристало время подумать об оледенении. Но он этого не сказал, потому что получалось, будто он цитирует собственную мать, у которой было хобби: коллекционировать страшные истории. Мать Сашки работала секретарем в суде, и информация у нее была очень однообразная. Если учесть, что муж ее, отец Сашки, запивал, что сестренка Сашки имела врожденный порок сердца, а бабушка в свои шестьдесят погулиwała, как молодая, то прямо можно сказать: проблема рождения индивидуальности в семье остро не стояла. Мать так стремилась, чтоб все у них было, *как у всех*, как у людей. Вот, оказывается, в чем был гвоздь. А индивидуальность — это с жиру. Это чтоб себя показать: «Вот у нас проходило дело...»

И Сашка молчал, хотя что-то в словах Романа вызывало его протест. Может, просто умничанье?

— Смотри, — сказал он. — Новенькая.

Им наперерез прошла Юлька.

— Я ее где-то видел. — Роман проводил глазами девочку. — Или это опять путаница с лицами?

— Ты ее видел сегодня в школе, — ответил Сашка.

— Нет, не в школе, — твердо сказал Роман. — В школе я ее не заметил.

В первый же день, когда они переехали в новый дом, Юлька опустила перпендикуляр с балкона шестнадцатого этажа вниз прямо на оставшийся здесь от других времен и народов куст сирени, потом провела мысленную прямую к школьному подъезду, соединила школьный подъезд с окном и получила ничего себе, симпатичный прямоугольный треугольник. Вот бы съезжать по его гипотенузе! Мгновение — и ты в школе. Но так как пока это было невозможно, приходилось осваивать тот катет, что лежал на земле. Вот почему из школы она шла наперерез Роману и Сашке, пренебрегая проложенным бетонным маршрутом. Она шла насквозь, и сбить с пути ее могла только стихийная преграда в виде стоящего прямо на катете дома, или котлована, или уже совсем глупо возникших гаражей, пахнущих ржавым железом и бензином. Она шла и думала об уроке литературы. «Будем говорить о любви...» Юлька за свои пятнадцать уже столько прочла о любви, что совсем недавно обнаружила: она с гораздо большим интересом читает фантастику, да и не какую-нибудь, а с сумасшедшинкой. Типа «Заповедника Гоблинов» или «Космического госпиталя», в общем, ту, в которой совсем или почти совсем нет примет нашего, человеческого времени. Отличный роман «Конец вечности» абсолютно испорчен любовью. Нет, Юлька не ханжа и не лицемерка, она лично знает — и не из книг, а из жизни, что от любви можно помолодеть на десять лет, и постареть на двадцать. Что в наше время для любящих столько же преград, как и раньше. Анна Каренина, Наташа Ростова, Лиза Калитина, мадам Бовари, мадам Реналь и Юлькина мама Людмила Сергеевна вполне могут стоять в одном ряду. И то, что мама, слава Богу, притом жива и здорова, заслуга не времени, а маминого характера. В ней на троих мужества, стойкости и оптимизма. Ну, посудите сами...

...Людмила Сергеевна выходила замуж за молодого — ей тридцать, ему двадцать. Бабушка Эрна, обрусевшая немка, лежала в

предынфарктном состоянии. Зброшенная Юлька вела сказочную для пятилетнего ребенка жизнь

— рылась в раскрытых ящиках комода, рядилась в материны побрякушки, подкрашивала брови и губы — никто ни слова, ее не видели. Шоколад валялся во всех углах, громадные запыленные плитки, раз-два надкусанные. На тиражированные игрушки — собак, кукол, мишек — не смотрелось. Говоря научным языком, в Юлькиной жизни были инфляция и девальвация, но в целом — лучше не бывает, хотя лежавшая на высоких подушках бабушка Эрна твердила ей с утра до вечера, какой она несчастный ребенок. Может, с тех пор в Юлькиных глазах навсегда застыло удивление пополам с насмешкой, рожденное от первого столкновения оценочного слова и реальной ситуации.

Период изобилия Юлькиной жизни кончился переездом на новую квартиру вместе с дядей Володей. В памяти цементно застыли красиво поднятые мамины руки и скороговоркой повторяемое: «От всех подальше... Как можно дальше... На край света...»

Край света выглядел соблазнительно. Пятиэтажный дом среди маленьких зеленых дворишков. Куры у подъезда, петух с осанкой бабушки Эрны, колонка у дома — пей, залейся, брызгайся прямо из крана, — собаки, кошки, бродящие естественно, без поводков и пригляду. Судя по всему этому, период изобилия Юлькиной жизни сразу перерастал в симпатичное приближение к природе.

Бабушка Эрна именно тогда сразу превратилась в старуху Эрну. Юлька слышала, как говорили женщины на лавочке у подъезда: «Какая величественная старуха». А мама, наоборот, преобразилась в девочку в коротенькой юбочке, дырчатой блузке, и те же женщины удивленно спрашивали: «У вас такая, большая дочь?» Юлька была осведомленным человеком. Она знала, что мама ее родила в двадцать пять лет, уже получив высшее образование. Но предметы Юлькиной пятилетней гордости менялись не по дням, а по часам. Теперь мама всем говорила, что да, конечно, дочь у нее большая, но она рано, слишком рано вышла замуж и сразу родила, прямо, можно сказать, в детстве. Потом все хорошо познакомились, и уже никто ни о чем не спрашивал. Старуха Эрна скрепя сердце наносила визиты, мама молодеда и молодеда, дядя Володя отпустил усы и бороду для солидности, и все шло прекрасно... И идет так же до сих пор. Маме

сорок один, ей не дают больше двадцати пяти, обалдеть можно от той зарядки, что она делает каждое утро. Юлька ни разу не видела ободранного лака на материнских ногтях. Она всегда как на свидании, а это, на взгляд Юльки, труднее, чем в отчаянии бухнуться на рельсы. Ведь мама — работающая женщина, и полы Юлька всего два года как моет... А то все она... мама. Вот что такое любовь... Конечно, их «русичка» говорила это все красиво (актриса бывшая, что ли?), но опять-таки — что может знать о любви старая дева? Хотя, с другой стороны, Юлька знает, что эта категория человечества претерпела существенные изменения в наше время. У мамы есть незамужняя подруга, мама ни за что не оставит дядю Володю с ней в комнате. Юлька чувствует: боится. Боится за дядю Володю, которого эта подруга может совратить. Их Танечка с виду не такая. Но тем хуже... Тем меньше, значит, она знает об изучаемом предмете...

...Катет уперся в каменные ступени. Пришла! В общем, конечно, выигрыш во времени незначительный, плюс ободранные на пересеченной местности ноги, все вместе доказывает, что гипотенуза как дорога была бы лучше. Но... Между прочим, один из двух парней, которые встретились, ей почему-то знаком. Она его где-то видела...

Юлька поднялась на шестнадцатый этаж и еще раз обозрела окрестность. Красота! А она, дура, ревела, когда переезжали. Здесь же необыкновенно! По девственно-зеленому ковру двора гуляла абсолютно золотая колли со щенятами. Тяжелая кирпичная кладка школы — ее так хорошо видно отсюда — тоже отлично сочетается с зеленым. А в том, что жилые дома, колеблясь в вышине, все-таки тянутся вверх, а школа устойчиво, на века, распласталась внизу на земле, была даже некая символичность. И если период изобилия в Юлькиной жизни был десять лет тому назад заменен периодом близости к природе, то на смену ему пришел образ жизни, который мама восторженно определила: «Как в раю!», а дядя Володя оценил по-мужски невыразительно: «Жить можно».

Но где же она видела того худого и длинного мальчика?

А Таня не находила себе места. Она считала, что завалила урок в девятом. Конечно, ничего не стоило завтра же вырулить на наезженную колею, но именно то, что этого так хотелось, останавливало. Нельзя поддаваться панике. Так не бывает, чтобы вчера

истина виделась в одном, а завтра в другом. Мама в таких случаях говорила: «Закажи себе очки. У тебя что-то со зрением».

— Надо исходить из того, — сказала Таня громко, на всю квартиру, — что я единственный предметник, который касается души. Если не я, то кто же?

«Брось! Брось! Брось! — сказала мама. — Только не ты!»

— Лучшие педагоги не имели детей, — парировала Таня. — Это им помогало, а не мешало. Не было своего, узкого, личного опыта, который может путать карты. Нужен взгляд широкий, освобожденный от родительского эгоизма.

«Дура — сказала мама. — Зачем я тебе оставила двухкомнатную квартиру?»

А тут как раз позвонила Элла. Она просто захлебывалась от счастья. Режиссера в Москву не взяли. Посмотрел «Вестсайдскую» человек, который ставит последнюю печать, и ему не понравилось.

— «Своих пижонов не знаем куда девать!» — так он сказал, — тараторила Элла. Но радость была от другого.

Режиссер был сегодня у нее (восторг!), у Эллы, сказал, что истинная дружба проверяется именно такими случаями. Так что они возвращаются вместе, будут ставить арбузовскую «Таню», совсем не так, как раньше. Она будет Таней. Но какой! Никакой любви! Просто ленивая девка уцепилась за перспективного инженера, а когда жизнь заставит ее самой зарабатывать на хлеб, поймет, что без мужика на свете прожить можно. Даже лучше...

— Чушь! — сказала Таня. — Где вы такое увидели?

— В пьесе! В пьесе! — кричала Элла. — Все бабы нынче — мужики. И только тогда им на свете хорошо, покойно и уверенно, когда они мужики на сто процентов! Во! Это будет бомба!

— На чем ты будешь раскачиваться? — спросила Таня.

— Ни на чем! Играть станут цвета. Твоя тетка вначале будет вся розовая, как поросенок. Она будет нести собой розовую женскую беспомощность.

— А потом какого она будет цвета?

— Как вся наша жизнь, лапочка! Стальная! Понимаешь? С металлинкой! Которая в конце засеребрится.

«В чем она была права? — думала потом Таня. — Пьесу они изуродуют, это точно, но какое-то в этом есть зерно... в этом

уродовании. Какое? Ах, вот в чем! Чистая, отделенная от жизни любовь в наше время не выживает? У *только любви*, как у бабочки-поденки, век короткий. Ей нужны примеси... В виде лесоповала?»

Потом Таня скажет: «Этот идиот режиссер заставил меня следовать задуманному плану. Что мне стоило на следующем же уроке все переиграть?»

Ни Роман, ни Юлька так и не вспомнили, где они видели друг друга. А встреча была и, оставшись для них бесследной и не запомнившейся, в их семьях, для их родителей стала чем-то вроде взрыва в котельной, который внешних разрушений вроде бы и не принес, но внутренние конструкции слегка покорежил.

Дело было вот в чем...

Мама Юльки когда-то давно, еще в школе, дружила с папой Романа. Но мало ли кто с кем дружил в школе — раздружились. Возник красивый мужчина, летчик, и увел маму Люсю от юного школьного воздыхателя. Тривиальнейшая история, разговора не стоит, если бы... Если бы папа Романа с последовательностью и ритмом биологических часов не возникал у ног Юлькиной мамы с переходящей всякие приличия тоской во взоре. Уже Юлька родилась, уже у него самого был сын, а все равно — придет, сопит и вздыхает. И случилось вот что... Людмила Сергеевна его возненавидела.

— Я сама себе казалась противной оттого, что когда-то с ним целовалась... И мне так горько, что своими приходами он напрочь испортил все приятные воспоминания. Теперь вспоминается противное. Что руки у него были всегда влажные, что, когда мы целовались, получался свист.

Людмила Сергеевна даже маму свою видеть в эти дни не хотела, потому что та Костю — так звали отца Романа — обожала. Юлиного отца — летчика — она не восприняла, дядю Володю тоже а Костя — это был ее идеал. Он соответствовал ее каким-то глубоко запрятанным, но живучим представлениям о пресловутой немецкой добропорядочности. Это было совсем смешно, если учесть, что родом Костя из курской деревни. Ничего себе ариец.

А потом раскинутая во все стороны Москва их разъединила. И уже много лет не возникал на пороге тоскующий и преданный Костя со своим занудливым «Ты только скажи...»

Когда Юлькины родители получили трехкомнатную квартиру в белой башне на зеленой траве, перво-наперво надо было отдать в химчистку шторы, пледы, покрывала, не вносить же в новенькую, с иголки квартиру старую пыль. Людмила Сергеевна навертела два тюка и, взяв Юльку в помощницы, отправилась в химчистку. Только они вышли на бетонную дорожку, положив тюки на голову — так женщина выглядит красивее, — как раздался совершенно истошный вопль: «Лю-у-ся! Люсенька!» — и некий мужчина в три прыжка преодолел разделяющий две бетонные дорожки газон. Юлька с тюком на голове продолжала идти гордо и прямо, но боковым зрением она отметила, что на другой дорожке остались стоять очень толстая тетенька, килограммов на сто, и высокий мальчик. Она не знала, что там было за ее спиной, не видела, как рвал с маминой головы тюк этот мужчина, как мама не давала ему это делать... Мама догнала Юльку через пять минут, лицо у нее было красное и злое, и она сказала: «Лучше на край света, чем жить с ним рядом».

Она даже съездила на Банный посмотреть, какие могут быть варианты. И первый раз за всю их жизнь они с Володей из-за этого здорово поскандалили. Юлька даже испугалась, тем более, что причину выяснить так и не смогла, но одну фразу дяди Володи запомнила: «Этот дохляк будет у меня лететь с шестнадцатого этажа красиво, как бабочка...» Юлька спросила: «Какой дохляк?» И мама исчерпывающе ответила: «Отстань хоть ты!»

Поскольку в этой истории две стороны, то важно знать, как на эту встречу прореагировала вторая — вот та самая стокилограммовая тетенька, что осталась брошенной на дорожке.

Вера Георгиевна — мама Романа и жена Кости — ночь не спала. Все видела перед собой ошеломившую ее картину: Костик, две недели до того пролежавший с радикулитом, в три метровых шага перемахивает через газон, а на асфальте, сцепив зубы от презрения, стоит Людмила. Вот это презрение не давало покоя и сна. Чего уж она так? У нее, у Веры, тоже был в школе поклонник. Сейчас он заслуженный артист, снимается в кино. Когда они встречаются, то, не стесняясь, целуются, даже если его жена рядом. И ей это не противно, наоборот, приятно, как он хорошо к ней до сих пор относится. И дело не в том, что ей льстит: он, мол, артист. Он не из тех, чьи открытки

продают, он всегда играет крестьян-безлошадников, у него и в жизни лицо голодное вытянутое и унылое. Но теперь он носит дымчатые очки. В них его безлошадность не так видна. Костик по сравнению с ним — красавец. Это объективно, не потому, что муж. А та, Людмила, смотрела на него так, будто через газон к ней прыгал какой-нибудь Квазимодо. «Лю-у-ся! Люсенька!» Орал как! Голос откуда-то не из горла, а из кишок — сдавленный, чужой. Вера с тоской представила, как они замерли на бетонных дорожках — она и Людмила. У Романа глаза стали, как блюдца. Папа ведь дома, держась за стеночку, ходил.

— Ну и прыжок! — сказал он восхищенно. — Как Брумель!

А «Брумель» стоял там, на той полоске, жалкий, небритый, и Людмила так брезгливо его обошла, с этим узлом на голове, будто боялась задеть. Уходя, кивнула ей, тоже свысока, и такое обилие презрения, пренебрежения, которое обрушилось на Веру в один миг, вдруг оказалось ей не под силу. Она, двужильная женщина, на плечах которой было все — и нездоровый муж, и хлипкий сын, ремонт в квартире (пять лет уже прожили), и стеллажи на заказ, и все, все, все... И тут она вдруг осела, обмякла от одной этой минутной встречи. Что она, про Людмилу не знала раньше? Знала. Все ее фотографии в альбоме сохранены, со всеми надписями «любимому», «моему хорошему» и так далее. Знала, все знала, что было. Не знала, предположить не могла, что у Кости все и есть. И вот теперь они соседи? Всего три газона Костику перепрыгнуть. Разве трудно умеючи?

И Вера тоже пошла в Банный переулок, на «квартирную барахолку», выяснить возможности обмена. Выяснила: туда надо ходить месяцами, а еще лучше годами. Может, что и выходишь...

А потом все как-то в бессонницу пересмотрелось. Школа для Ромки рядом, на работу добираться удобно, а тут еще прямо между домом их и Людмилы достраивают громадный универмаг, он разделяет их дома, как пропастью. А тут еще Костика с радикулитом положили на обследование в ЦИТО. Шло время, и ни разу больше Людмила на пути не встречалась.

Правда, цепко держалось в памяти, как она тогда прошла, но время услужливо подсунуло другое объяснение: значит, он ей не нужен. Так это же хорошо! Раз прыгнул и увидел: не нужен. Разве она, Людмила, будет с ним, хворым, так возиться? Вера знала, сколько

времени требует и Людмила прическа, и такие ногти, и сколько стоит такой вид в целом, переводит хоть на деньги, хоть на время. Многого стоит. Ей, Вере, не по карману. Поэтому найти любителя поменяться с ней местами будет трудно. Один раз прыгнул... и съел... Отлеживается в ЦИТО.

Вера не подозревала, что Костя звонил Людмиле по телефону. Сложным путем выяснил он домашний номер, так как не знал, какую она сейчас носит фамилию. У Эрны спрашивать не стал, позвонил Людмиле на работу и там у кадровиков не своим голосом осведомился. Людмила ответила предельно сухо, а он сразу жалко представился: «Я из больницы». Но в другой раз трубку взял мужчина и лениво так спросил: «Слушайте, какого черта?» Костя медленно надавил на рычаг и медленно пошел, пытаясь самому себе убедительно ответить на этот предельно простой вопрос: действительно — какого? Скоро двадцать лет минет, как они прятались в подъездах. Чего только не было после: и этот сумасшедший летчик, который привозил ей коробки конфет из всех городов Советского Союза. И их скоропалительная свадьба. И какая она была тощая и измученная, когда ждала мужа из полетов. И как она его выгнала, имея пятимесячную дочь, когда узнала о многочисленных перелетных романах. И у него, у Кости, тогда был пятимесячный сын, но он побежал к ней, потому что вдруг отчаянно на что-то понадеялся. Целую вечность он надеялся, одновременно аккуратно выполняя отцовские и мужские обязанности: ходил в молочную кухню, искал Вере необходимый для кормления лифчик с пуговицами впереди, носил в мастерскую обувь и покупал детский манеж. Он потому так хорошо это запомнил, что жил какой-то нелепой, противоестественной надеждой на то, что Людмила его примет, что он ей будет все-таки нужен. А тут еще эта проклятая Эрна с ее подбадривающими пожатиями и подмигиваниями: мол, все о'кей — или как там у них по-немецки? А все было прескверно. Однажды. Людмила закричала противным голосом что он ей надоел до смерти, что она его видеть не может, запаха его слышать не хочет и так далее... А потом этот прыжок через газон, и сжатые губы Людмилы, и его голос, откуда-то из желудка: «Лю-у-ся! Люсенька!» И тут вдруг, — идя, вернее даже пятясь от телефона, — он понял, что на вопрос «какого черта?» ответа нет. Потому что «люблю» никакой не ответ, если тебя не просто не любят, а терпеть не могут. Приставать в таком

случае действительно нехорошо, если есть или совесть, или гордость. Косте стало стыдно, мучительно закололо, заныло во всех суставах, захотелось жалости и внимания. И сразу вспомнилась Вера, как шерстяным платком она перевязывает ему поясницу, как гладит по платку утюгом. Костя даже застонал от переполнившего его чувства раскаяния — и решил больше никогда не звонить Людмиле.

Универмаг открывали с оркестром как раз в сентябре и сорвали уроки в школе.

Девятый «А» ринулся к окну, оставив без внимания призыв учительницы закрыть окно.

Юлька и Роман оказались прижатыми к подоконнику плечом к плечу.

— Слушай, — сказал Роман, — я мог тебя раньше где-то видеть? У меня такое ощущение!

— Ты в Останкине не жил?

— Даже не знаю, где это!

— Тогда тебе кажется...

В том, что ей это тоже казалось, она из женского кокетства решила не признаваться. Еще чего!

Музыка громко звучала, высокое начальство обходило сверкающий никелем образцовый универмаг, а в универмаге — показательный манящий и увлекающий, на горе родителям, отдел детских игрушек.

Таня вошла в класс и в первую минуту его не узнала. Лица, что раньше смутно виднелись будто сквозь пелену покрытия, выпростались и обнаружили себя, какие есть. Надо же! Музыка заиграла! Неожиданная музыка! В неположенный чай! Музыка — это как снег на голову. И они сбросили с себя зажатость, запрограммированность на историю или на что там еще и смотрели на Таню обнаженно и доверчиво.

— Радости-то сколько! — сказала она, но ирония получилась какая-то подбитая: потому что надо быть клиническим идиотом, надо быть законченным шкрабом, чтобы не уметь радоваться радости.

«Запомнить бы мне эти их лица», — подумала Таня. И она стала их жадно оглядывать и окунулась в такой поток доверия и сияния, что подумала: сейчас разревусь. И тут встретилась с большими и

беспомощными, как у постоянно носящих очки людей, глазами и сообразила: это та, новенькая. Ах, вот это кто! Девочка с фотографии! Она обратила на нее внимание на снимке. Первого сентября чей-то папа их фотографировал и через неделю гордо принес снимки. Что бросилось в глаза? Таня среди: учеников — как Гулливер среди великанов. «Ну и ну», — подумала. В ней ведь тоже не полтора метра, а честных метр пятьдесят девять плюс каблуки. И все-таки с виду роста нет. Только одна девочка такая же. Но кто это, сообразить было трудно. Папа мастером фотографии не был. Таня решила, что эта девочка чужая, из другого класса, а к ее ребятам прибилась по принципу каких-то личных связей. А сейчас, после музыки, поняла — сидит эта маленькая. Только она носит очки. Вот они-то и сбили Таню с толку. Посмотрела по списку — Юля. Подумала: так это дочка самых эффектных родителей? Людмилу Сергеевну и ее мужа Таня заметила первого сентября. Они стояли вместе со всеми возле школьного забора, а распорядитель-физкультурник делал в их районе выразительные пробежки — верный признак, что где-то недалеко имелась в наличии красивая женщина. Таня посмотрела: верно, имелась.

В Юльке не было ни грамма броской материной элегантности и стати. И она не потрясает акселерацией, как остальные девчонки. Обыкновенная девочка на все времена. Только вот волосы прижаты сиюмодным ободком — уменьшенной копией лошадиной дуги. Зря она его надела, ободок. Волосы у нее мягкие, негустые, ободок на них лежит грузно, а тут еще тяжелые, тоже сверхмодные очки — с «облучком» посередине, даже не заметишь живую девочку за такой амуницией. Но теперь Юлька сняла очки и смотрела так, что Тане захотелось ее от чего-то защищать, маленькую. Она ей улыбнулась, а тут вылез Роман.

— Татьяна Николаевна! — начал он. — Я что-то слегка заучился. В какой части света Останкино?

— Балда! — закричали Роману. — Это не у нас! Это на Млечном Пути.

— Невероятно! — печально сказал Роман. — Уже появились пришельцы.

Таня не знала, какая игра продолжается, заметила только: Юлька надела свои очки с «облучком» и... стала другой.

— Все! — сказала Таня. — Конец музыке.

На первом в году общешкольном собрании вопрос дисциплины стоял, так сказать, в профилактических целях. На тех собраниях, которые потом, после общего, должны были проходить по классам, тему определял сам классный руководитель. И Таня решила: это будет разговор о здоровье. Что бы там ни говорила их врач-оптимист, надо на здоровье обратить внимание. Последние трудные классы, плюс неуправляемая акселерация, плюс вся наша жизнь с ее стрессами, гиподинамией и шумами — все это надо знать. Ее бывший друг, доктор Михаил Славин, писал работу о признаках ранней ишемии. Он ей рассказывал много жутких историй, а она все их записывала. Записывала и думала: классический отход от заветов мамы. Я записываю его мысли, вместо того, чтобы оставить его ночевать. А сейчас мысли пригодились. Она листала тетрадку, там его рукой были нарисованы самые примитивные («Для таких темных, как ты», — говорил он) чертежики и диаграммы. Она перерисовывала их, ощущая тоскливую пустоту. Как раз состояние для рисования схем.

Родителей на собрание пришло мало. Несколько новых мам озирали Таню внимательно и придирчиво. Родителей Юльки не было. Из «старых» первой пришла мама Романа. В который раз Таня обратила внимание, как она тяжела для своих лет. Она больше всех взволновалась разговором о здоровье. Все ушли, а она, обмахиваясь тетрадкой, все выспрашивала:

— А у Ромасика очень большие синяки под глазами?.. А он не производит впечатления чем-то больного?..

Таня не судила ее за глупый страх, она понимала его, профессионально обязана была понимать в родителях. И все-таки Вера, как всегда, показалась ей клушей с одной-единственной функцией — вырастить дитя. Не укладывалось в голове, что она инженер, что у нее есть, должны быть какие-то профессиональные знания, что она вообще может о чем-то думать, кроме сына. Таня нарочно спросила ее о работе, та долго сосредоточивалась, морщила лоб, потом засмеялась и сказала:

— Вы сбили меня с толку. Когда я думаю о муже и сыне, я дурею. Это видно? Видно, видно... Я знаю... Так что о работе? Работаю. Служу. Все у меня хорошо в этом смысле. Почему вы спрашиваете?

Она даже слегка рассердилась на Таню за это не функциональное любопытство. В конце концов действительно, какое кому дело до ее служебных качеств? Тем более учительнице, для которой главное, чтобы она была хорошей матерью и хоть каким инженером...

Вера срисовала у Тани из книги упражнения для ликвидации сутулости. Роман, правда, сутулым не был. Но мамы сутулых поспешно убежали — знаем! знаем! — а эта сидела и рисовала. И лицо у нее было девчоночье, юное, одухотворенное, хоть и возникало из тяжелого двухъярусного подбородка.

Октябрь был как никогда.

— Я сто лет не видела таким Ботанический! — восхищалась учительница биологии, особа экспансивно-романтическая. — Что-то особенное. Иллюзия чего-то неземного! Хочется упасть в эту красоту и умереть! Умоляю! Поведите срочно детей!

Все захохотали, а она на могла понять почему.

— Чего вы? Чего вы? — спрашивала она.

— Обнаружили в тебе склонность к массовому убийству. Всей школой упасть и умереть!

— Я же не в том смысле! — стала оправдываться смущенная учительница.

— В том! В том! — смеялась Таня.

— ...Ой! — закричала Юлька и сняла «облучок». — Это же в Останкине. Там действительно здорово!

— А! — сказал Роман. — Экспедиция на Млечный Путь. Татьяна Николаевна, а какие гарантии возвращения?

— Без гарантий, — ответила Таня. — Операция, полная риска. Можем умереть от красоты.

Умереть от красоты захотели почти все и отправились на другой конец Москвы на следующий же день. Ходили по саду почтительно, артистично всплескивали руками, закатывали глаза, и вдруг Сашка с диким воплем кинулся к фонарному столбу.

— Братцы, — закричал он, — железный! Как это прекрасно!

Все тут же подхватили игру картинно встали на колени вокруг столба, а Сашка произнес торжественный спич в честь Прометея, Яблочкова, чугунолитейного производства и призвал всех собирать металлолом.

Таня сказала: «Ах так... И не надо... Гуляйте!» И они просто гуляли, а потом, когда шли назад, Юлька и Роман отстали. Почему-то тогда Таня подумала: они подходят друг другу, как две половины одной разрезанной картинки. Но она не в первый раз так думала, видя возникающие на ее глазах юные пары, поэтому как подумала, так и забыла. А вспомнила о первом своем впечатлении уже потом, потом...

— Сколько в тебе кровей? — спросила Юлька.

— Одна-единственная неделимая русская, — торжественно ответил Роман.

— Ты вряд ли будешь гениальным, — серьезно сказала Юлька. — У меня гораздо больше шансов. У меня тоже преимущественно русская, но слегка разбавленная.

— Водой или сиропом? — спросил Роман.

— Сам дурак, — серьезно продолжала Юлька. — Бабушка у меня из немцев...

— Фи! — не поддавался Роман. — Тоже мне кровь...

— Мой отец — метис...

— Вот это уже мне нравится! — обрадовался Роман. — Метис — это звучит гордо.

— Не в том смысле, — сказала Юлька. — Он наполовину украинец, наполовину поляк. Понял?

— Тогда он мулат, — засокрушался Роман. — Это уже не так гордо. Не быть тебе гениальной. — И заинтересованно спросил: — А негров в вашем роду не было?

— Монголы были, — приняла наконец игру Юлька. — Те, что из ига...

— Слава Богу, — обрадовался Роман. — Хоть что-то... Можно, я буду звать тебя просто: Монголка?

Потом удивлялись, почему он кричал в классе: «Монголка».

— Что в ней монгольского? — спрашивали ребята.

— Душа, — отвечал загадочно Роман. — Она ведь из ига. Сама сказала.

Судьба подарила им несколько абсолютно безоблачных месяцев. Это навсегда останется тайной, как их дотошные родители именно в этом случае долгое время были слепы и глухи и оставались не в курсе. Дело в том, что Людмила Сергеевна ждала ребенка («Спохватилась

после сорока! Но надо! Надо!»), а Вера возилась с Костей, у которого обострились все хворобы, и его попеременно перекладывали из больниц в больницу. («Знала, есть какая-то Юля. Фамилия мне ничего не сказала, а Ромасик никогда поздно не задерживался. Ведь на это смотришь в первую очередь».) Они назначали свидания в детском отделе универмага, у бассейна, где вместе с зелеными шарами мячей плавали зеленые крокодилы, киты, черепахи. Они садились на кафельные берега бассейна и пропадали. Люди становились природой, и совершенно не имело значения их человеческое количество. А может, чем больше — было даже лучше. Роман и Юлька только меняли место на своем «берегу» в зависимости от того, что в универмаге выбрасывали и как выстраивалась очередь. Они сидели с авоськами для хлеба, молока, как с неводами; люди же шуршали, бушевали, как деревья, как море, как ветер. А вот крокодилы были живые и настоящие, и звали их Сеня и Веня.

— ...А когда ты на меня обратил внимание?

— Когда мы молились фонарному столбу. Все на коленях в шутку, а ты — по-настоящему...

— Вот дурачок... Я тоже в шутку.

— Я понимаю. Но вид у тебя был как по-настоящему... И пятки у тебя такие маленькие-маленькие торчали вверх.

— Пятки? — Юлька смущенно закрывает глаза ладонью. — Как тебе не стыдно... Они, наверное, были грязные... Мы же по пыли шатали.

— Были, — отвечает Роман. — Мне даже хотелось поплевать палец и протереть их.

— Ну, а потом?

— А потом ты с умным видом болтала глупости о своих кровях. Как я понимаю, намекала мне на скрытую в тебе гениальность. Я тогда представил — как это все в тебе происходит. Бежит в тебе алая-алая, это русская кровь, а в ней фонтанчиками бьют синяя немецкая, светло-зеленая польская, оранжевая монгольская...

— Господи! Да нет во мне монгольской! Ты это сам выдумал...

— Не перебивай старших... От этого многоцветья ты изнутри вся светишься. Ты знаешь, что ты светишься?

— Как это?

— Как салют. Правда, крокодилы?

Юлька крутит им головы: мол, неправда.

— Когда мы поженимся, мы заберем их, — говорит Роман.

— А когда это будет? — спрашивает Юлька.

— Очень скоро. Девятый, считай, мы уже кончили. Так? Значит, десятый. Это ерунда. Сразу после экзаменов.

— Но ведь нам не будет еще восемнадцати.

— Тогда мы уедем в Узбекистан, там можно раньше...

— А что мы будем делать с Сеней и Веней?

— Они будут жить в ванной, ждать наших детей...

— Ой!

— Чего ты!

— У мамы стали выпадать зубы. Она говорит, что я у нее забрала два зуба, а вот этот неизвестный товарищ уже четыре. Она страшно переживает. Зубов нет, пятна... Старая стала... Мне ее жалко...

— Тебе ничего не повредит...

— В каком смысле?

— Я представил тебя без зубов и с пятнами: очень хорошенькая старушка.

Вера выступала на родительском собрании в начале третьей четверти и рассказывала, как в их НИИ сын одного сотрудника — такой приличный мальчик

— попал в дурную компанию и совсем отбился от рук. Она была очень этим взволнована и призывала мам и пап к бдительности.

— Был хороший, интеллигентный ребенок, — говорила она, — играл на скрипке, родители — культурнейшие люди... Отец три языка... Дома никаких выпивок... туризм... До седьмого класса мальчик без троек... И появляется один... паршивая овца. И все насмарку... Мальчик перестал стричься... Потом эти битлы. Потом приводы...

Татьяна Николаевна слушала эту извечно наивную цепь рассуждений, искала слова, которыми должна будет и успокоить, и объяснить, какое и где утрачивается звено между пай-мальчиком со скрипкой и «паршивой овцой», и вдруг увидела, как замолчала Вера. Именно *увидела*, потому что еще звучали какие-то слова, еще шевелились Верины губы, а внутри она замолкла, застыла, закаменела... Это бочком, извиняясь за опоздание, входила в класс

Людмила Сергеевна. Пополневшая, похорошевшая после недавних родов, она усаживалась на краешек парты, чтоб не измять роскошную трикотажную тройку

— юбку, жилет и блузку, — тихо, деликатно щелкнула сумочкой, достала платок, и в класс, всегда пахнувший только классом, впорхнул запах духов непростых и чужеземных. «Что с ней? — подумала Таня о Вере. — А с ней?» — это уже о Людмиле Сергеевне, чьи тонко выщипанные брови удивленно поползли вверх при виде Веры.

После собрания Людмила Сергеевна сопровождала Таню до учительской.

— Извините, что я опоздала, — говорила она. — Я теперь себе не принадлежу, принадлежу расписанию кормлений. А что, Роман Лавочкин учится в вашем классе?

— Да, — ответила Таня. — А что?

— Странно, — задумчиво сказала Людмила Сергеевна, — странно... Когда-то я знал его отца... И что — хороший мальчик?

— А вам Юля ничего не говорила? — удивилась Таня. — Они ведь дружат.

— Дружат? — На лице Людмилы Сергеевны застыло такое глупое выражение, что оно, несмотря на ухоженность европейскими средствами, стало просто намалеванно-бабьим.

— Они наши Ромео и Джульетта, — ляпнула Таня.

«И если в своей жизни я когда-нибудь говорила пошлости и глупости, и если я совершала когда-то безнравственные поступки, и если я бывала бестактной, так все это чепуха по сравнению с этой моей пошлой, безнравственной и бестактной фразой, — так скажет потом Таня. — Я ляпнула, как будто сыграла свадебный марш на похоронах, я сказала — будто ввела в Эрмитаж лошадь, я проболталась, как последняя сплетница со скамейки у подъезда, которая всегда в курсе, кто с кем, кто когда, кто зачем». Но тогда, сразу, она услышала только кислый такой голос Людмилы Сергеевны.

— Это некстати, — тихо сказала она. — На носу десятый... Лавочкиных нам еще не хватало.

— Роман — славный мальчик, — успокаивала ее Таня. — Совершенно порядочный, совершенно чистый...

— О Господи! — возмутилась Людмила Сергеевна. — Конечно, чистый! Конечно, порядочный! Кто об этом? — И недобро добавила:

— Я знаю эту семью: добропорядочность у них фамильная.

Тогда еще Таня не знала предыстории и такую недобрость отнесла за счет характера этой выхоленной дамы.

Лавочкины ужинали рано, потому что рано ложился спать Костя. Вера нервно бросала на стол свертки из холодильника, никак не соображая, что ей конкретно сейчас нужно? Когда напрочь все выбросила, поняла — делает не то: гречневая каша у нее сварена и стоит на балконе, а ей надо было зайти после собрания за молоком, но об этом она как раз и забыла. Костя лежал в комнате, читал детектив. Бегая с балкона в кухню, вскрывая тушенку (пусть каша будет с мясом, а не с молоком), Вера растерянно думала о том, что она до сих пор безумно ревнует Костю к этой женщине. Вот время прошло, а как сейчас видит она его прыжок через газон: «Лю-у-ся!»

Когда они женились, он ей честно сказал: «Эта любовь была для меня всем». Но Вера думала: у каждого что-то было. И у нее тоже был парень в институте, собирались жениться, а как-то вернулись с каникул, посмотрели друг на друга — и привет. Стало ясно, что можно было вообще никогда не встречаться. Раньше Вера свято верила, что все любви, которые не кончаются физической близостью, — дым, химера. То есть, конечно, есть близость без любви, но это разврат, блуд, неприличие. Но если будто бы любишь, но спокойно без этого обходишься — тоже ерунда.

У них с Костей все получилось сразу, и она поняла: Костя единственный для нее мужчина на земле. И оставалась счастлива даже после его слов: «Та любовь была для меня всем». Пройдет. Потому что там *ничего не было*. А потом он прыгнул через газон и этим прыжком враз порушил такую стройную, такую устойчивую концепцию. Вера тогда испугалась на всю жизнь, на всю жизнь она возненавидела Людмилу Сергеевну, на всю жизнь поселился в ней страх, что Костя может уйти, если его позовут. Просто невероятно, как он от себя не зависит, и стоит только захотеть той женщине...

А теперь они могут видеться. Конечно, Костя на собрания не ходит, это уже утешение, но будет десятый класс, выпускной вечер, и эта явится в каком-нибудь необыкновенном наряде, и Костя, он такой слабый после болезни, может растеряться. «Лю-у-ся! Люсенька!»

Пришел Роман с длинной, как невод, авоськой. В ней болтался плавленный сырок за пятнадцать копеек. Этих сырков — полхолодильника. Хобби какое-то у сына — покупать сырки.

— Ну что собрание? — спросил он весело. — Кого клеймили? Про меня что-нибудь говорили? Нет? Прекрасно! А про Юльку? У нее пара по физике, случайная, по глупости, но дурочка так страдает, — во-первых, из-за пары как таковой, во-вторых, боится, что из-за этого у Людмилы Сергеевны пропадет молоко... У Юльки теперь есть брат... Юлька из-за него не высыпается... — Роман болтал, выковыривая из тушенки кусочки желе, одновременно он грыз длинный огурец и отщипывал корочки хлеба, — в общем, вел себя, как всегда, когда он голоден и когда у него хорошее настроение.

— Юлька — дочь Людмилы Сергеевны? — спросила Вера. А сердце забилось. Она родила? В таком возрасте? Костя ей не нужен! Ах, как хорошо! Хорошо! А у Романа все пройдет, пройдет. Это детство.

— Ма, что с тобой! Ты чего шевелишь губами? — Роману весело, сжевал всю корку круглого черного, догрызает полуметровый огурец...

— Что, лучше Юльки в классе девочек нет? — спросила Вера.

Роман закашлялся так, что у него слезы выступили, и Вера возненавидела в этот момент Юльку так же, как Людмилу Сергеевну.

— Что с тобой, мама? — спросил сын, откашливаясь. — Какая тебя муха укусила? Юлька — самая лучшая девочка на земле.

— Я знать этого не хочу! — закричала Вера. — Десятый класс на носу. Вот о чем надо думать.

Ты тривиальна, мама, как шлагбаум.

— Почему шлагбаум? — растерялась Вера.

— Ну табуретка... Сама подскажи мне пример тривиального...

«Надо пойти посмотреть в словаре, что такое „тривиальный“, — подумала Вера. — Я забыла значение этого слова. А может, не знала?..»

А Людмила Сергеевна по дороге домой успокоилась и не сочла нужным ни о чем разговаривать с Юлькой.

Потом она скажет: «Я вдруг уверовала, что у Юльки, моей дочери, должен быть иммунитет против Лавочкиных».

Людмила Сергеевна ведь тоже когда-то что-то там испытывала к Косте. Скорее всего благодарность за первую в жизни мужскую преданность, за то, что некто однажды увидел в ней не просто одноклассницу — девушку... Вот и у Юльки тоже. Пройдет. А летом ее надо будет отправить в Мелитополь. Родня обеспеченная, машина, моторка повозят, покажут. Лето вылечит...

Эту историю в тот момент больше всего переживала Таня, потому что Юлька «съехала» по учебе. По математике у нее редкие тройки перемежались более частыми, похожими на вставших на хвост змей двойками.

Таня говорила с ней. Юлька крутила двумя пальцами дужку очков и обещала. «Исправлю, Татьяна Николаевна, ей-богу исправлю».

Как-то к Тане подошла их школьный врач, властно оттянула ей веко и сказала. «Слушай, Татьяна, у тебя ни к черту гемоглобин. Приди завтра в поликлинику, я возьму у тебя кровь».

Сейчас Таня лежала дома и вспоминала все это. Гемоглобин у нее оказался на самом деле низким. «Для того чтобы умереть, много, а чтобы жить, мало,

— сказала врач. — Ешь печенку и расслабься Пусть мир на всех скоростях катится к чертовой матери, ты нынче едешь только на лошадях. Это уже если совсем нельзя пешком».

Как-то ночью пришла страшная мысль: ей нельзя болеть потому, что ей некому подать стакан воды. Тут же села в ноги мама и завела старую песню.

«...Даже у меня такого не было! У меня была ты...»

— У тебя, Таня, завышенные мерки к жизни, — говорил Миша Славин. — Измени угол в своем циркуле, и все сразу пристроится. Мне неуютно, когда ты хочешь, чтобы я был Чеховым. Да и ты, пардон, тоже ведь не Ольга Леонардовна? А?

— Чего ты из меня делаешь дуру? Никогда я на тебя не смотрела, как на Чехова, — отвечала Таня.

— Ты этого не замечаешь. А я иду к тебе после работы усталый, измученный, мне хочется забыться и заснуть в объятиях любимой, а мне приходится думать: все ли у меня прекрасно? Ничего у меня прекрасного нет после работы. Штаны мятые, рубашка несвежая, на душе погано, а мыслей нет вообще... Собаки съели. Ты меня пожалей,

приголубь... Именно такого. Несмотря на штаны, отсутствие мыслей, на то, что я пришел к тебе с приветом...

— Ты другой уже не бываешь. Вот что страшно... В воскресенье утром у тебя то же самое.

— Правильно, любовь моя. Такова реальность. Работа проедает насквозь. Но я без нее не могу. Как врач, я раз во сто выше Чехова... Но в остальном избавь меня от этого сравнения. Избавь меня от веры в красоту человечества. Оно больное. Констатирую как доктор. И я его лекарю. От всей души, как говорят...

«Наверное, это был способ от меня уйти, — думала Таня, — навязать, приторочить мне мысли, которых я никогда не имела. Не сравнивала я его с Чеховым. Не приходила в ужас от его мятых штанов. Но он привязывался, привязывался с этим циркулем, который будто бы у меня закреплен не на том угле, и я однажды поняла: он *хочет*, чтобы я с этим согласилась. Тогда ведь сразу станет все ясным. Ну, я и согласилась... Он ушел обиженный и освобожденный».

В холодильнике стыла закупленная впрок печенка, морковка стала сморщенной и мягкой, гемостимулин был не распечатан, и только Таня решила все это или съесть или выбросить, как в дверь позвонили долго и нахально. Она отрыла и увидела весь свой девятый с цветами (дорогие же ранней весной!) и свертками.

— Вот еще глупость какая! — сказал Сашка. — Болеть вздумали.

— А где Роман и Юля? — спросила Таня.

— А где они? — удивились ребята. — Шли ведь вместе.

— Но это вас не должно расстраивать, Татьяна Николаевна, — сказал Сашка. — С ними случаются такие странности. Временами они исчезают. Вообще. В пространстве.

— Очень смешно, — ответила Алена. — Просто цирк.

— Мы принесли клюкву, — хлопнул себя по лбу Сашка. — Это то или не то?

А Роман с Юлькой так и не появились. Таня, слушая ребят, отметила: Алена стоит столбом возле окна, большая такая, свет закрыла, стоит и двигает туда-сюда два чахлах цветочных горшочка. «Разобьет», — подумала Таня. И та разбила. Испугалась, стала собирать осколки, землю и в деле успокоилась, больше к окну не подошла, а села рядом, прижалась к Тане плечом и горячо зашептала: «Хотите, я вам буду готовить? Я умею. У меня рыба хорошо

получается, и с майонезом, и с томатом, и со сметаной. А еще я умею делать битое. Берешь восемьсот граммов свинины...»

Когда ребята ушли, Таня почувствовала, что выздоровела. Количество гемоглобина не имело никакого отношения к этому. Просто пришло ощущение: все. Надо вставать. И она встала, посмотрела, как у нее с колготками, можно ли их подштопать или надо уже выбросить, вымыла голову польским шампунем и накрутила волосы на крупные бигуди. Привычные мелочи возвращали ей силы, и она уже окончательно решил — бюллетень надо закрывать.

После девятого класса мальчишки продолжали занятия в военно-спортивных лагерях. Таня пришла за отпускными, а они собирались во дворе. Все в зеленых топорщащихся костюмах, все подстриженные на основании приказа, все, как один, длинношеее, ушастые. Мальчишки как-то безрадостно поострились по поводу ее отпускной экипировки: мол, давно бы так одеваться молодой женщине, а то учителя и сами не живут, и другим не дают, вот вам доказательство — и они опускали перед Таней бритые выи. «Хорошо, да? Красиво, да? А сами небось в юбке-макси». Пошутили, поболтали, так бы она и ушла, если бы кто-то не крикнул:

— Ромка! А тебя пришли на войну провожать!

И тут все увидели Юльку. Вид ее вполне соответствовал реплике. Она была черная, осунувшаяся, казалось, что ей холодно, хотя на улице не менее двадцати пяти. Роман испуганно отвел ее к забору, подальше от глаз.

Приход Юльки взбудрил отъезжающих, и они заболтали:

— Что, граждане, сыграем свадьбу?

— Ой, сыграем! Вот тут прямо, во дворе, столы поставим...

— Каре...

— Что?

— Каре...

— Ты что, ворона?

— Каре... Стол — каре.

— Ребята, он чего?

— Ерунда! Предлагаю «Арагви» или «Пекин».

— А money? Кто будет платить?

— Не мы же! Родители! Сбросятся, скинутся, полезут в черную кассу, наскребут... Такая любовь, мальчишки, требует расходов.

— Патентную теорию... Внимание! Патентную теорию... Большая любовь — большие расходы. Средняя — средние, маленькая — маленькие... Здорово? Родители в целях экономии женят нас на обезьянах... Рубрики в газете: «С лица воду не пить...». Дискуссия — с лица или не с лица?... Пить или не пить?..

— В «Неделе» был рассказ, кажется, Моэма, так там черным по белому доказывается — без любви очень даже лучше... Ничего хорошего все равно не ждешь, а значит, и не разочаровываешься... Отсутствие разочарований — залог успеха.

— Как бы это объяснить Роману?

— Поздно, братцы... Он спекся...

— Жалко товарища... Ушел от нас в расцвете.

Они галдели, а сами поглядывали на Романа и Юльку не без зависти, пока физкультурник звонко и молодо не крикнул: «Становись!» (Звонко и молодо — это в честь Таниной юбки-макси, реакция у него в этих случаях автоматическая.) И тут Таня увидела, как Юлька бросилась Роману на грудь, как обхватила его за шею, как беспомощно тычется ему в зеленую робу. Таня почувствовала — сейчас заревет, и заревела бы, не увидь, что прямо на них мчится по двору Вера. Таня с Сашкой сработали одновременно, уже через секунду конвоируя Веру с двух сторон. Она удивленно посмотрела на Таню, в глазах на мгновение полыхнуло: «Что за вид!», но она тут же стала озираться, искать сына. Ах, Сашка! Умница Сашка! Он показал всем мальчишкам кулак, а сам стал кричать в сторону школы, хотя Роман и Юлька были в противоположном месте.

— Ромка! К тебе мама пришла! Ромка!

Вера заворожено смотрела на дверь школы, ждала: вот сейчас распахнется и выйдет Ромасик... Но дверь не распахивалась. Все с интересом ждали, как появится Роман с другой стороны и что он скажет.

— Ромка! Тебя зовут! — тихо шептала Юлька. — Точно! Тебя зовут...

— Значит, не забудь: я возвращаюсь через три недели. Во вторник, в пять вечера, как обычно...

— Ромка! Зовут...

— Да ну их... Запомни... Во вторник... В пять вечера...

— Ром! Я не могу... Просто даже не подозревала, что не смогу. Три недели... С ума сойти... Ты иди, иди... Что они кричат? Мама пришла? Чья мама?

— Наверное, моя... Юлька! Ты только меня не забывай. Слышишь, Юлька, во вторник...

Он шел от Юльки как во сне... Он подошел к Вере и остановился возле нее, и она, увидев его, сразу поняла, откуда он пришел. Она завертелась, даже привстала на цыпочки...

— Стройте их скорее! — сказала Таня физкультурнику.

— Леди! — ответил он проникновенно. — Я из-за них тяну эту резину. Развели страсти-мордасти... Забираем в рекруты... И маман и девица... Фи! Что за воспитание! — И хорошо поставленным голосом он крикнул: — Последний раз говорю: становись! Провожающих прошу удалиться за забор.

Таня взяла Веру под руку, и они пошли. Она вела ее и чувствовала, что за их спинами прижалась к бетонной ограде Юлька, бедная, почерневшая девочка, которую не надо сейчас видеть никому, а Вере особенно.

Вера четко печатала шаг. Она тоже знала, что Таня уводит ее от Юльки, она уводилась покорно и с достоинством, а Таня не подозревала тогда, что тяжелая Верина голова уже произвела на свет план, что Вера выждет, когда уедут мальчишки, и вернется в школу, чтобы забрать документы Романа. Если все решено — зачем тянуть? Если веришь в идею — ее надо осуществить. Она толково, убедительно объяснила тогда все директорисе. И напугала ту вконец. Роман не доехал еще до Ярославского вокзала, Юлька не добрела еще домой, а личное дело Романа Лавочкина уже лежало в сумке, прижавшись к капусте и яичкам, а Вера четко печатала шаги из одной школы в другую, из другой в третью... Выбирала.

Уже ночью, в поезде «Ривьера», Таня опять вспомнила Юльку и Романа и почему-то разгневалась. Потом она скажет: «Гнев был несправедливый». Еще бы! Какая там справедливость! Думалось: «Что за непристойность на глазах у всех бросаться на шею? И где? На школьном дворе! Ведь я там была! И учитель физкультуры! И ребята. А им все равно? Ну, знаете... Такого еще не было. Вера как почувяла... Она молодец, она вся настроена на волну сына, он тоже все

чувствует». И Таня, вспомнив Веру, стала успокаиваться. Эта мама — на страже. Стража — хорошее, оказывается, слово. Добротное, древнее, мудрое. На него можно рассчитывать. От Веры и стражи мысли перекинулись на Людмилу Сергеевну — вот вам две мамы, два отношения к детям. Да что там говорить: именно у этой выхоленной женщины могла вырасти девочка без понятия о какой-то нравственной сдержанности, девичьей скромности...

Мысли, слабо вздрагивая на стыках, катились, катились в поезде «Ривьера», пока Таня вдруг не подумала: «Я что? Маразмирую?» Она вышла среди ночи в коридор, удивляясь, как опустилась до того, что сама с собой сплетничает, копается в этой любви, будто коза в капусте. Что она о них знает, что? И вообще это не ее дело, не ее компетенция. Ее никто не провожал в отпуск, и едет она *одна*, и *никто* ее не ждет, и все это немаловажно, но если она позволит разыгрывать в себе личной неустроенности

— грош ей цена. Нет ничего противней перенесенного в школу мира старой девы. Татьяна Николаевна безжалостно секла себя и давала клятву: как только почувствую, что брюзжу, так уйду... Куда угодно, кем угодно...

— Закурите?

Ей протягивали пачку сигарет. И она взяла, хоть никогда не курила. Она ухватилась за сигаретку, как за поручень: только бы выйти из этого состояния гнева на саму себя и на других людей. И вышла... И посмотрела на человека, который стоял рядом. Ничего человек, высокий, сильный, подтянутый, такое впечатление, что он и не ложился или только что сел, а она в халате, распустеха, нехорошо как-то...

— Не могу спать в поезде, — сказал он. — Поэтому предпочитаю летать. А тут так нескладно получилось, пришлось поездом.

— Что, так всю ночь и простои́те? — спросила Таня.

— Лягу, конечно, — ответил он. — Куда я денусь? Но для меня это пренеприятное времяпровождение... Мысли лезут, и только дурацкие...

— Вот и мне, — обрадовалась Таня.

Он понимающе кивнул. Так они и стояли, спасаясь от бессонницы короткими затяжками дыма, который Таня не глотала, а осторожно выдыхала на стекло.

— Курить не умеете, — сказал сосед.

— Не умею, — засмеялась Таня, — но это не имеет значения.

«Спасибо человеку, — подумала. — Выбралась из состояния склочности».

Письмо в Мелитополь двоюродной сестре было обстоятельным и деловым. У нее, у Людмилы, на руках маленький. Юлька бродит о Москве, как беспризорная кошка. Ей так нужен сейчас кислород и йод. А где он в столице? А ведь впереди десятый класс. Есть и еще одна закавыка: мальчик. Ничего плохого между ними не было, но с глаз долой, из сердца вон! Так, что ли? Вот и лучше — вон... Может, сестра помнит, в школе за ней ухаживал занудливый такой парень, потом он много лет не давал ей покоя, мальчик Юли

— его сын. Бывают же подобные совпадения! Людмила просит сестру любыми способами — «любыми» подчеркнуто — держать Юльку как можно дольше. Каждый месяц они будут высылать семьдесят рублей, и, пожалуйста, без слов. Девочка большая, хоть и родственники, а никто никому не обязан. А семьдесят — это те деньги, которые идут на Юльку от ее родного отца. («Скоро не будут идти, скоро восемнадцать, но ведь тогда расходов не будет, так закон, видимо, считает... Обойдемся, не война».) Значит, милая, любыми способами держите Юльку... А она, Людмила, с малышом будет на даче. Володя вот-вот должен получить «Жигуленка». Уже пришла открытка. Писали они им об этом или нет? Когда снимаешь дачу, без машины — хана. Электрички

— место накопления онкологических клеток. Москва перенаселена, Москва кишмя кишит, и конца этому не видно. В чем-то они, провинциалы, гораздо их счастливее...

Ромка сидел «на берегу» и ждал Юльку. Сеня и Веня плавали рядом. Очередь обтекала его слева направо — в универмаге давали цигейковые шубы. Вчера она шла наоборот — в обувном выбросили импортные войлочные сапожки. А позавчера, во вторник, очереди не было совсем. Он сидел два часа, он рассказал девочкам из отдела все байки, какие знал... А Юлька не пришла. Если ее не будет и сегодня, он пойдет к ней домой.

Он звонил долго-долго, может — час, может — три, пока из соседней квартиры не вышла распатланная девица с кофемолкой. Она открыла дверь и в упор стала разглядывать Романа.

— Чего ты добиваешься? — спросила она. — Каких результатов?

— Их что, нет? — глупо сказал Роман. — Все звоню, звоню...

— Очень охота позвать милицию, — задумчиво произнесла девица, выяснять, что ты за тип... Дебил или жулик?..

— Дебил, — ответил Роман и стал спускаться.

— Они на даче, — кричала вслед девица. — Кислородятся.

— Где? — спросил Роман уже с площадки.

— А я знаю? Не докладывали. А Юлька на юге. В Мариуполе, кажется.

— Фамилию не знаете, у кого она? — Роман уже возвращался назад. — У родни? У знакомых?

— Понятия не имею. Зачем это мне? — Брови девицы вздыбились от удивления.

— Ладно. Спасибо, — сказал Роман. — Мариуполь, точно?

— Вроде... — Девица остервенело крутила кофемолку и смотрела вслед Роману. Ничего мальчик, вполне... Любовь, любовь... Ха! Столько вокруг обожженных ею, казалось бы, сообрази и остерегись, а все равно летят на огонь, как сумасшедшие. Девочки и мальчики... Комсомолки и комсомольцы... Рабочие, студенты и колхозники... Дураки и дурочки... Пусть летят... Она больше не полетит...

Девица пила кофе, которым можно было бы напоить дюжину гипотоников, а в ушах ее продолжал звучать долгий призывный звонок в пустую соседнюю квартиру.

Вера согласилась на Мариуполь сразу. После того как она отдала в школу за четыре трамвайные остановки личное дело Романа, она почти успокоилась. Оставалась малость: сообщить Роману, что его перевели в новую школу. Все были уже подготовлены. Вера не постеснялась даже сходить к бывшему учителю математики и сказать ему: «Евгений Львович! Я буду на вас ссылаться, что вы Ромасику рекомендуете другую школу. Где уровень выше». Математик был оскорблен — при чем тут уровень? Какие к нему претензии? «Господи! Да никаких! — сказала Вера. — Мне *надо* его забрать из этой школы». Евгений Львович ничего не понял из Вериних полунамёков

(«Девочка? Какая девочка? У них у всех девочки!»), но согласие на версию «о высшем уровне» дал. «Она взяла меня измором, — скажет он. — У нее какая-то своя сложная логика, но я вникать не стал». Вера собиралась подключить к этому и Татьяну Николаевну. Как только та вернется. Она даже слегка, гордилась хорошо организованной интригой. Думалось: через много лет она будет рассказывать Роману всю подноготную его перевода. Вот уж посмеются вместе. Очень хорошо это виделось — она рассказывает, а Роман качает головой и говорит: «Бедненькая ты моя, столько хлопот из-за пустяков».

Так это хорошо представлялось, что Вера заранее переполнялась умилением. Пусть, пусть знает, как она мудра в своей материнской зоркости, и как ловка, и как сообразительна. Все, все оценит сын потом. Вера воспаряла... Она узнает, почувствует из всех девушек ту, единственную, которая... Верьте не верьте, почувствует! И может, даже скажет сыну: «Ромасик! Не прогляди! Это она!» Вера могла представлять и дальше: внуков, например... Возможные семейные неприятности у Романа, и как она, мать, тактично и внимательно во всем разберется, и поможет, и выручит... И еще дальше: видела правнуков... Видела, как она будет умирать в большой широкой постели против широкого окна. Нет, не умирать — отходить, и все вокруг будут плакать, а в ее душе будут звенеть бубенцы. Она даже сейчас слышала эти бубенцы из будущего, серебряный перезвон, и радостно вздыхала. Все будет хорошо. Ведь ведет же она его по жизни шестнадцать лет. И слава Богу! А чего только не было. И воспаление легких три раза, и этот мальчишка, который учил его пакостям, и перелом ноги, и пожар, который Ромка устроил в детском саду. Все было. Но она во всех ситуациях была умней обстоятельств, и все кончалось хорошо. И в этой истории, она убеждена, надо вмешиваться и разрушать. Тут не может быть сомнений ни с какой стороны. Это даже хорошо, что Юлька — дочь Людмилы Сергеевны, что пришла его провожать. Они сами все определили, они сделали задачу предельно ясной, тут даже думать нечего. Вера гордилась собой.

А потом Роман с матерью уехал в Мариуполь, то есть, как выяснилось, в Жданов. Почему Вера так обрадовалась этому варианту? Потому что это не Сочи, не Ялта, не Паланга, это был не теплоход по Волге или Енисею, не вояж по столицам. Жданов — Мариуполь — рабочий город, и, значит, жизнь там дешевле, без

снобистского курортного шика, а море там все-таки плескалось... Теплое и мелкое — это тоже было хорошо. К тому же выяснилось, что в Мариуполе можно не только отдыхать, но и поработать. Верин институт имел на металлургическом комбинате дело, и ей дали командировку на две недели. Вера испытывала небывалый подъем. Правда, она еще не сказала Роману о переводе в другую школу, но это успеется. Вот будут они лежать на берегу, прислонясь головами к какой-нибудь перевернутой лодке, и она ему скажет: «А знаешь, Ромасик...»

Он будет пересыпать песок из одной ладони в другую и ответит ей: «Где бы, мама, ни учиться, лишь бы не учиться». Такая у него была шутка.

Они сняли комнатку недалеко от моря, Вера уходила на комбинат, а Роман будто бы купался. («Не заплывай», «Не перегревайся», «Пей кефир, но смотри на число» и так далее...) Роман ходил по городу. Он ни разу не окунулся за все время. Он перешагивал через голых на пляже, боясь раздеться и этим потеряться среди всех. Он боялся, что, несмотря на хорошее зрение, проглядит Юльку в этом царстве плеч, животов, ног, спин, одинаково загорелых, одинаково блестящих на солнце. Знать бы, какой у Юльки купальник! Знать бы вообще, какая она! И он мысленно, без волнения, без чувственности раздевал ее. В этом не было ни грамма секса, решалась научная задача: выделить, вычислить из общей массы одну-единственную — Юльку. Но ее не было. Вечером Роман валился без ног, а Вера сокрушалась, что он совсем не загорает, что он у нее огнеупорный. И она купила ему масло для загара.

В какой-то момент, в третий раз проходя по одной и той же улице, Роман понял, что Юльки здесь нет. Наверное, они разминулись. Он представил, как она сидит «на берегу» и ждет его, как таскает за носы Сеню и Веню, и понял, что надо уезжать. У мамы осталось три дня командировки, и их надо будет как-то пережить. Только тогда он пошел на море, разделся, лег головой к чьей-то перевернутой лодке и сразу сгорел на солнце, потому что огнеупорным не был, а про масло для загара забыл. В последний день, уже купив билеты, к нему пришла на берег Вера. Она смущенно разделась, стыдясь своего белого, рыхлого тела: пряталась за лодку и была так поглощена этим своим смущением, что забыла сказать про новую школу.

Юлька своим ключом открывала дверь и не могла открыть. Она потрясла дверь, давно зная, что с неживыми предметами надо поступать так же, как с живыми: трясти, шлепать, тогда они подчиняются, слушаются, и действительно, ключ сразу вошел в щель, будто вспомнил забытую дорогу, и дверь открылась. Пока Юлька втаскивала чемоданы, рюкзак и сумку, на площадку вышла Зоя, соседка, с которой Людмила Сергеевна не советовала Юльке общаться. Считалось, что определенные университеты ею закончены давно, что Зоя живет по принципу за год — два, что с такими темпами к тридцати выходят в тираж. И негоже с ней девочке...

— Привет! — сказала Зоя. — К тебе тут парень приходил. Ничего из себя. Звонил до посинения, пока я его не прогнала.

— Роман?! — закричала Юлька.

— Не представился, — усмехнулась Зоя. — Не то воспитание.

— Когда он приходил? — Юлька вся дрожала от нетерпения.

— Ну, с неделю... Может, с пять дней... У тебя что с ним? Любовь? Ты, Юлька...

Но та умоляюще сложила руки:

— Зоя, не надо... Ладно? Ну, прошу тебя, не надо...

— Ничего не надо? — приставала Зоя. — Ни совета? Ни пожелания?

— Ничего, — сказала Юлька. — Ничего.

— Живи, — ответила Зоя. — Это — как корь, болеет каждый. Но одно скажу

— ты с ним не спи...

Юлька захлопнула дверь. Жгучий стыд покрыл лицо, шею, даже между лопатками загорелся. Господи, какая он ужасная, эта Зоя, все правы, говоря о ней гадости, все... И тут услышала стук в дверь. Метнулась к ключу, но это Зоя, она прямо дышала в замочную скважину.

— Юлька, не сердись, — шептала она, — не сердись. Ты же знаешь, что я дура...

Юлька на цыпочках отошла от двери, чтобы не слышать этого проскальзывающего в квартиру шепота Зои.

— Я ушла, — громко раздалось через несколько минут за дверью. — Но ты помни, что я тебе сказала.

«Как хорошо, что я ничего не слышала! — облегченно подумала Юлька. — Я не буду на нее обижаться. Не буду. Она не виновата, что у нее все плохо. Но ведь и я не виновата, что у меня все хорошо?»

Три дня в пять часов таскала она за нос Сеню и Веню. Потом узнала у мальчишек, что Роман уехал в Мариуполь. Поплакала и собралась на дачу.

Летом они так и не встретились.

Только в конце августа Вера решилась сказать, что перевела Романа в другую школу. От удивления от раскрыл рот и так и замер.

— Ты что, мать? — спросил он. — Белены объелась?

— Груби, груби, — до слез обиделась Вера. — Мне это надо? Мне? — За то время, что она молчала, она тщательно отработывала версию, не имеющую никакого отношения к Юльке. — У них сильный математик и физик не нашим чета. Там есть физико-математический уклон, хоть школа и считается обычной. А по сути уклон есть... Мне это сказал директор. И в твоей школе все правильно поняли. Да, говорят, если хочет в физтех, то лучше другая школа.

— Кто хочет? — спросил Роман.

— Ты, — удивилась Вера. — Разве ты передумал?

— Значит, все-таки я... Значит, надо было у *меня* спросить, что я об этом думаю.

— Ромасик! — жалобно сказала мать и сложила руки на груди.

Вера сделала это от души, без подвоха, не подозревая, что именно этот материнский жест бьет Романа наотмашь. Никогда ему не бывает так жалко мать, как в эти минуты. Сразу вспоминается почему-то, что мама — так говорят родичи, да и фотографии тоже — до родов была очень стройная, очень гибкая. А как только где-то в ее глубине «завязался» Роман, вся ее красота стала разрушаться.

«Твоя мать, когда тебя носила, была похожа на надувную игрушку, такая была отечная», — говорила бабушка. Стоило приехать кому-нибудь из ленинградской родни, и эта тема конца не имела. Ни у кого не хватало такта молчать об ушедшей Вериной красоте. Говорили, говорили, говорили...

Когда-то, лет в восемь, Роман после одного такого разговора очень плакал. Вера испугалась, стала расспрашивать, и он ей признался, что, если бы знал, как он ей в жизни навредил, не родился бы. И тогда Вера сложила на груди руки накрест и сказала: пусть бы она стала толще в три раза, пусть бы у нее было пять тромбофлебитов и десять гипертоний, пусть бы у нее были все хворобы мира, — все равно это никакая цена за то, что у нее есть такой сын... Романа отпаивали валерьянкой, так он рыдал после этого, а этот материн жест — руки

накрест — остался сигналом, после которого он просто не может, не в состоянии с нею спорить. Пусть другая школа! Пусть! Увидеть бы Юльку, и все будет в порядке, увидеть бы, увидеть бы...

— Я избородил Мариуполь вдоль и поперек... Я тебя искал...

— Дурачок! Я ведь была в Мелитополе...

— Кошмар! Я убью твою соседку!

— Зою? Ой, не надо! Она и так несчастливая!

— Все равно убью за дачу ложных показаний...

— А я сбежала из Мелитополя. Скука смертная, целый день еда...

Человек, оказывается, может съесть невероятное количество. Просто так. От тоски. От безделья...

— А ты не поправилась... Худющая, как вороненок...

— Я скучала, Ромка. Ночью проснусь и думаю о тебе, думаю...

Боялась, вдруг ты меня забудешь...

— Ненормальная! Никогда так не думай, никогда!

— Давай не расставаться, я и не буду думать...

— Знаешь, я ведь буду в другой школе...

Роману показалось, что Юлька умирает. Так она задохнулась и откинула назад голову.

— Юлька! — закричал он.

— Почему? — едва выдохнула Юлька.

— Там уклон, понимаешь, физико-математический уклон. Ты же знаешь, наш математик не тянет...

— Ромка! Дурачок! Это они нарочно нас разделили, нарочно...

Как ты этого не понимаешь, глупый!

— Да нет! — сказал Роман. — Нет! Просто уклон.

— Просто мы с тобой...

— Но ведь тогда это глупо, ведь нас-то разделить нельзя... Сама подумай!

— Я и подумала, — прошептала Юлька. — Я знаю что делать!

Татьяна Николаевна все узнала постфактум. У нее состоялся прелестный разговор с Марией Алексеевной, их директором. Умная, современная женщина, исповедующая напередовые взгляды на школьную форму (устарела!), ратующая за демократичность отношений между учителями и учениками (демократизм есть дитя

интеллигентности), невозмутимая, когда речь шла о повторных браках учителей («Ради Бога! Были бы вы счастливы! От счастливых школе больше проку»), Мария Алексеевна сейчас была маленькой и потерянной в своем кресле.

— Пожалейте меня, деточка! — говорила она. — Я этого боюсь. Ничего другого не боюсь, все могу понять и простить, а от этого холодею...

— Чего вы боитесь, Мария Алексеевна?

— Любовей, милочка! Любовей! Я же не Господь Бог, я прекрасно понимаю, что это та сфера, в которой я бессильна. Случись у них роман — и плевать они на нас хотели. Они делаются дикими, неуправляемыми, они знать ничего не хотят. Смотришь — и уже эпидемия, пандемия. Все дикие. Все неуправляемые. Возраст? Возраст. Но если есть какая-то возможность сохранять аскетизм — я за это. Любой ценой! Газеты вопят о половом воспитании, фильм «Ромео и Джульетта» на всех экранах... На мой взгляд — это кошмар. Все в свое время — когда созреют души... А души в школе еще зеленые... Поэтому не напирайте на меня... Пришла Лавочкина и попросила документы по этой причине. Я сказала: «Ради Бога! Понимаю и разделяю...»

— Вы посмотрите на Юлю. На ней же лица нет.

— Мне жалко девочку. Искренне жалко... Ей кажется, что мир рухнул в ее сторону. Ну скажите, много ли вы знаете случаев, когда эти школьные страсти выростали во что-то путное? И вообще выростали?

— Мария Алексеевна! А вдруг это тот редкий случай?

— Тогда им ничего не страшно... Так ведь?

— Им страшно все, что их разлучает. Мы с вами в их глазах чудовища.

— Я по опыту знаю: учителя, которые в школе казались чудовищами, со временем меняют минус на плюс. Приятные во всех отношениях педагоги, как правило, ничего не стоят... и не остаются в памяти. Но мы не об этом. Милочка! Не мучьте меня больше вопросами на эту тему. Это моя ахиллесова пята. Я прячу и стыжусь ее. Вы молодая и жестокая и не умеете смотреть сразу с двух точек зрения. Но все-таки попробуйте взглянуть на все с моих седин.

— Я не видела и не вижу ничего страшного...

— Ну что ж... Одно могу сказать: кто-то из нас двоих слеп... Кто-то один зряч...

Таня шла домой пешком, через сквер. Осень была желтой, томной, кокетливой и не соответствовала состоянию Таниной души, в которой было синее, фиолетовое, черное... Эти цвета как-то естественно сложились в небритое и уставшее лицо доктора Миши Славина.

— Я женюсь, — позвонил он ей недавно. — Скажи мне на это что-нибудь умное.

— Поздравляю, — ответила Таня. — Дай тебе Бог...

— Бог! — закричал Миша. — Запомни! Он ничего никому не дает. Он только отбирает. Ты просто нашла гениальную фразу, чтобы убедить меня: у нас бы с тобой все равно ничего не вышло...

Она положила трубку. Телефон трезвонил, и его назойливость обещала какое-то спасение, какой-то выход. Можно было откликнуться. Можно было сказать: «Приезжай. Бога нет. Я есть... Ты есть... Мы есть...»

Таня не подняла трубку. И сейчас думала: «Надо было выйти замуж в семнадцать лет, за того мальчику, который катал меня на велосипеде. Он катал и тихонько целовал меня в затылок, думая, что я не чувствую, не замечаю. А я все знала. И мне хотелось умереть на велосипеде, такое это было счастье. А с Мишей все ушло в слова. В термины. В выяснение сути. Суть чего? Когда тебе за тридцать, кто тебя посадит на велосипед? Миша бы сказал: „Велосипед? Это который на двух тоненьких колесиках? Ну, знаешь, я устал, как грузчик... Мне бы умереть минут на двести... И потом, солнышко, сколько в тебе кэгэ?“

Таня думала: «Я расскажу это при случае Вере. Будто не о себе. О другой. Расскажу. Надо, чтобы подвернулся случай».

Потом Татьяна Николаевна скажет: чего я ждала? Какого случая?

Юлька училась из рук вон плохо.

Только Таня завывала ей оценки, но она не реагировала на это. Ах, четыре, говорили ее глаза, четыре задаром — ну и что? Что это по сравнению с тем, что Романа нет в классе? Она привычно поворачивала голову в ту, в его сторону и всегда наталкивалась на улыбающееся восторженное Сашкино лицо.

Никто не думал, не ожидал от Сашки такой прыти — занять парту Романа. И вообще это было открытие: Сашка влюблен? Он ведь о любви — только сквозь зубы, сплевывая, а тут занял чужое место и стоически переносит это страдальческое Юлькино отворачивание. Вот она повернулась, увидела Сашку — не Романа! — и смотрит прямо. Но как! Столько в ее глазах плескалось женского неприятия, что думалось: это в каждой женщине, независимо от возраста, сидит вечное: увидеть «уши Каренина».

Они встречались с Романом там же, у бассейна. Сейчас это было трудно, часто не совпадали уроки. Кому-то всегда приходилось ждать, они беспокоились, Юлька почему-то боялась, что Роман, торопясь, может попасть под машину: в их районе открыли новую скоростную автотрассу. Когда он задерживался, она чуть не падала в обморок, представляя, как два грузовика сталкиваются прямо на Романовом теле. И тогда она выбегала из универмага, и бежала к дороге, и часто попадала, невидящая, прямо ему в руки.

— ...Ты куда?

— Я испугалась...

— Чего?

— Так просто... Нет, правда, ничего! Честное слово. Куда мы пойдем?

— Куда хочешь... Я так по тебе соскучился...

— Слушай, попросись обратно в нашу школу. У меня одни пары...

— Юлька! Давай потерпим, а? Ведь маленько осталось, да? Видишь ли, математика у них на самом деле сильнее. Я просто чувствую каждый день, как умнею... Понимаешь, хорошая подготовка — это вуз верняк; значит, мы сможем сразу пожениться...

— Если тебя заберут в армию, я все равно поеду за тобой.

— Дурочка! Это нельзя... У них говорят: не положено.

— Я тайком. Рабочих рук везде не хватает.

— Это у тебя-то рабочие?

— Ты не удивляйся, у меня как раз и рабочие. Буду что-нибудь там пряхть или стричь... Я ведь не очень умная, Роман, честно... И я устала учиться... Я способна только на что-нибудь очень простое.

— Ты работать не будешь, будешь воспитывать детей!

— О! На это я согласна! У нас с тобой будет чистая-пречистая квартира, много детей и хорошая музыка...

— И еще много книг.

— Заочно я окончу что-нибудь филологическое, чтобы правильно воспитывать наших малышей...

— Зачем?

— Надо! Я буду рассказывать им не про курочку Рябу, а древние легенды, сказы, в детстве это легко усваивается.

— Когда ты это все придумала?

— Ничего я сама придумать не могу. Мамина приятельница так воспитывала своего сына.

— Ну и что?

— Не смейся, жуткий вырос подонок... Но ведь литература тут ни при чем?..

— Надо было курочку Рябу...

— У нас будут хорошие дети. Я постараюсь...

— Скажи только сразу: будешь их насильно учить музыке?

— Буду!

— Учти: со мной этот номер не прошел...

— Ромка, мы с тобой дураки? О чем мы говорим? Мне уже стыдно...

— Ничуть! Надо знать, какое ты хочешь будущее, и его строить.

Готовя самые тяжкие испытания, жизнь способна предварительно парализовать волю тех, кто мог бы что-то предотвратить.

Вера уже после Мариуполя почувствовала себя хорошо и уверенно. Выбравшись за много-много лет в командировку, оторвавшись на две недели от вечно хворающего мужа, так складно и оперативно решив эту ситуацию с сыном, она вдруг ощутила себя мудрой, сильной, счастливой женщиной, которая может позволить себе ничего не бояться. Костя за две недели не умер, другую женщину не завел, Роман нормально пережил перевод в другую школу и рад ей, вернее, рад математике. Людмила Сергеевна на дороге не встречается. И ну ее, еще о ней думать! Вон как ее, Веру, Костя ждал из Мариуполя. «Я, говорит, на бюллетене обычно не бреюсь, а ради твоего приезда побрился». А про себя Вера отметила: и надушился. В общем, встретил ее хорошо пахнувший, любящий, соскучившийся муж. «Лю-у-ся! Люсенька!» — это уже вчерашний ее испуг. Это от нервов, от

переутомления. Подумаешь, модные тряпки. Вера у спекулянтки купила бонлоновый костюм в две полосы — вишневую и белую. Живот подтянула — и вполне. В метро один привязался. «Вы говорит, не просто прекрасная женщина, а богиня материнства».

На новую ступень самосознания поднялся в ту осень и Костя. Он вдруг осознал свои хворобы — радикулит, гипертонию, артрит и ларингит — не только как скопище неприятностей, мешающих жить и осложняющих отношения с начальством, а как некую единую Болезнь, которая требовала к себе уважения и почтения. Он даже успокоился, поняв, что болезнь переросла его и полностью подчинила. Этим самым она сняла ранее существовавшие неловкости: две недели в месяц неработы, постоянные хождения к докторам: «Опять спазм, опять колет...» Все встало на места. Есть он. Но есть и Болезнь. И он полюбил свою Болезнь больше себя, больше Веры, больше сына... Даже Люся, удивительная, прекрасная, далекая Люся, размылась, потеряла и цвет и очертания. Была и нету. И была ли? Костя стал умиротворен, беззаботен и счастлив этим своим новым состоянием. Правда, иногда, хоть и все реже, приходили старые друзья. Они произносили глупые, не имеющие конкретного смысла слова: «Ты мужчина», «Надо взбодриться», «В конце концов совесть у тебя есть? У тебя же нет ничего смертельного!» Костя иронически улыбался. Какая чепуха! И Болезнь вознаграждала его за стойкость очередным бюллетенем, очередной прекрасной возможностью лежать и думать. Мысли были неспешные и мудрые. Вот глупо же, глупо выстроили именно здесь скоростную дорогу. Надо было на сто метров левее. Он доставал блокнот и легко, небрежно высчитывал экономию. Очевидность найденной ошибки веселила сердце, но огорчала граждански настроенный ум. И он садился писать письмо, куда надо, хоть по неправильной дороге уже давно мчались машины, выгрызались под ними переходы, дорога обрастала завтрашним задуманным пейзажем. Но Костя истово писал, а Вера всем рассказывала, что он даже на бюллетене не дает себе покоя. Такой уж он человек.

В ту осень Людмила Сергеевна бросила кормить грудью сына. И вздохнула облегченно. Приобрела по этому случаю французские одежды с ног до головы. Во всем новеньком, купленном для выхода на работу, чувствовала себя молодой и красивой, а то, что прибавилось

несколько лишних килограммов, так даже пошло на пользу — ни одной морщинки, не кожа у нее, а роскошь! От Юльки между делом узнала, что Роман в их классе больше не учится. Вздернула вверх брови — почему? Юлька что-то пробормотала про математический уклон. «Слава Богу», — подумала Людмила Сергеевна. На всякий случай небрежно спросила: «Я слышала, ты с ним дружила?» Но Юлька так взбесилась и так хлопнула дверью, что Людмиле Сергеевне ничего не оставалось, как сделать вывод: что-то было, да сплыло... Больше того, подумалось: может, Юлька немножко страдает из-за этого Лавочкина, сына Лавочкина? «Надо будет, — решила мать, — рассказать ей, как за мной бегал Костя. Рассказать позлей, понасмешливей... пусть представит Романа выросшим... Какой он будет надоедливый, прилипчивый, какие у него будут влажные ладони... А когда целуется — свист». Людмила Сергеевна даже передернулась. Легко, нечетко мелькнул мысль: а Юлька уже целовалась? Мелькнула и ушла — с кем? Она совсем ребенок. Трусики сорок второго размера. Никакой акселерации. И прекрасно. Посмотришь на этих современных кобыл и вздрогнешь. Девушки-деревья.

Володя же вообще был не в курсе. Все свое свободное время он лежал под «Жигуленком». Мысль о презренном существовании уже приходила ему в голову. Утешало одно: захочу продать — оторвут с руками. Машины — пока еще товар не лежалый.

...Алена Старцева тоже перевелась в школу, где учился Роман. Объяснение было такое: в той школе ее пообещали оставить вожатой, если она не поступит в институт. Как это ни странно, но такой разговор с Аленой был на самом деле, вела его нынешняя вожатая, соседка Алены, которая заканчивала институт и получала уже на следующий год учительскую ставку. С Аленой они дружили и таким образом поладили.

Алена уходила громко. Она кричала, какая там прекрасная школа, какие там чудесные ребята, она расхаживала по классу и пинала парты ногами.

— Фу! — говорила она.

— Алена, может, зря? — спросила ее Татьяна Николаевна. — Мы тебя тут все знаем. У тебя математика еле-еле, а там очень сильный

педагог. А захотят они тебя взять вожатой, и отсюда возьмут. Что за проблема?

— Нет! — сказала она.

— Куда Роман, туда и Алена, — сказал кто-то из ребят. — Это ж всем понятно!

— Куда Роман, туда и Алена! — это уже громко повторила сама Алена. И щеки ее с вызовом поблескивали между двумя косицами.

Таня посмотрела на Юльку. Та сидела ни жива, ни мертва.

Как не испугаться воробышку Юльке этой большой, темпераментной, гневной Алены-«Нонны». Сметет ведь!

Она гордо уносила свой портфель-сумку, и последний ее взгляд был на Юльку, но та его не встретила, потому что сидела, поникнув. Потом она скажет Тане: «Ведь это я должна была перейти туда! Я! Скажите, почему мне это не пришло в голову? Почему я такая дура?»

— ...Знаешь хохму? В нашем классе теперь Алена! Это цирк! Ее явление на математике — это смешней, чем Луи де Фюнес...

— Она тебе совсем не нравится?

— Алена? Нравится. Как все большое. Останкинская башня. Слон. Панелевоз. МГУ.

— Ты ей нравишься...

— Знаешь, я заметил что-то такое...

— Ну что? Что?

— Она меня домой провожает...

— Ты серьезно?

— Идет рядом, как конвоир.

— И что?

— Я не умею разговаривать с неживой природой.

— Но она? Что она?

— Юлька! Я иду и думаю о тебе. Она мне не мешает...

— Ты придешь ко мне в воскресенье?

— К тебе? Домой?

— Я буду одна. Придешь?

— Конечно!

— Обязательно приходи. Алена ведь и некрасивая. Правда?

— А я не помню ее лицо...

Людмила Сергеевна совершала первый после родов большой выезд в свет. Ехали на серебряную свадьбу Володиной старшей сестры, но идейным стержнем поездки было другое — показать себя, малыша и Володю вкуче, чтоб еще раз привести в некоторое потрясение родню, так до сих пор и не поверившую в возможность крепкого брака с такой разницей в годах. «Нате вам!» — мысленно говорила Людмила Сергеевна, купая в субботу сына.

Уезжали утром — дорога через всю Москву, с юга на север. До конца торжеств все равно быть не собирались, так что породственному можно было приехать и пораньше.

Юлька всю ночь не спала. К утру, когда завозился в сырой рубашонке брат, вдруг так ясно и просто подумалось: говорят, это получается неожиданно, от безумия, сразу, а у меня это запланировано, как в пятилетке. На такой странной мысли она наконец заснула. А уже в десять, проводив своих, стала готовиться к приходу Романа. Выяснилось, что дел невпроворот. Никогда она не подозревала, сколько надо вытереть пыли, сколько протереть стекол. У них, конечно, всегда был порядок, но это был *мамин* порядок, а Юлька наводила *свой*. С ее точки зрения, ванна была недостаточно белой, входной половик недостаточно вытрусенный, плед на диване мятый, кастрюли в кухне стояли кое-как, а мусорное ведро было просто-напросто грязным. Юлька завертелась вихрем, за десять минут до прихода Романа она уже стояла под душем и изо всех сил терла жесткой мочалкой свой плоский, втянутый живот.

— ...А у вас современная хата.

— А у вас?

— А у нас по старинке. Столы, буфеты, кровати...

— Но у нас ведь тоже...

— По-твоему, это сооружение — стол?

— Тебе у нас не нравится?

— У вас здорово. Даже очень. Но простому человеку как-то не по себе...

— Идем в мою комнату.

— Юлька! А это что? Братцы мои!

— Ты не удивляйся... Это ром. В конце концов мы ведь все равно поженимся, так пусть свадьба у нас будет сегодня...

— Юлька! Родная! Ты серьезно?

— Очень. Я продумала все до мелочи. Посмотри, какая на мне рубашка. И духи французские — «Клима» называются...

Они были вместе до вечера. К Юлькиному правильно сервированному столу они не притронулись. Ели прямо из холодильника, стоя перед ним на коленях. Они пальцами доставали шпротины из банки и тут же забывали о них, прижавшись друг к другу.

Когда Роман ушел, у Юльки едва хватило сил, чтобы кое-что кое-куда спрятать. Порядок уже не имел для нее смысла. Пришла странная мысль: надо учить уроки. Как пришла — так и ушла, бледная, такая невыразительная, не побуждающая мысль. Что такое уроки? Зачем уроки? Кому уроки?

Приехали родители. Володя трезвый — за рулем ведь. А мама веселая, с некоторой излишней лихостью. Это у нее всегда от вина.

— Все спрашивали, почему тебя нет, — пропела она. — Ты ела?

Юлька взяла брата и унесла его раздевать. Прижимая к себе голенького, подумала, что после Романа у нее на втором месте брат. А мама, оказывается, дальше? Стало жалко маму, Юлька посадила малыша в кроватку, пошла искать маму, чтоб как-то загладить эти несправедливые мысли. Мама и Володя целовались в коридоре. У Юльки закружилась голова, и она ушла в свою комнату. Если бы можно объяснить маме, как она понимала ее сейчас, ее безумную любовь к Володе, ее закинутые ему на плечи руки, как со страхом вдруг осознала, что мама постареет раньше и, может, будет из-за этого страдать и никакие утешения, никакие дети, наверное, не помогут ей.

Мама заглянула в комнату.

— Есть ты не ела, суп даже не разогревала, но уроки, надеюсь, сделала?

— Да, — легко соврала Юлька.

И мама ушла.

— Ты пил? — закричала Вера, увидев Романа. И жадно потянула носом у сыновнего рта, и вынюхала ту крохотную рюмку рома, которую он все-таки выпил с Юлькой за свою счастливую судьбу. Вера боялась выпивки больше всего. Казалось бы, откуда быть страхам при таком трезвеннике, как Костя, а поди ж ты — страхи были.

— Где? — тормошила она Романа. — Скажи, где? Я тебя прошу, я тебя не буду ругать: только скажи, где и с кем?

Роман глупо улыбался. Ну действительно, нельзя же всерьез говорить о том, чего нет, когда есть вещи важные и на самом деле существующие? Мама просто паникерша и фантазерка. Совсем зарпортовалась, слышите? Зовет отца и просит снять ремень! На Романа напал смех. Сейчас его будут сечь! Папа возьмет свой плетеный тонкий ремешок и врежет ему между лопаток и ниже. Очень здорово! И он так захохотал, что даже стал заикаться. И тогда Вера решила, что он пьян в стельку, она схватила его за руку и поволокла в ванную, но тут Роман как раз и перестал.

— Мама, оставь! — сказал он тихо. — Я как стеклышко. Двадцать пять граммов рома и ничего больше.

— Рома! — закричала Вера. — Этой гадости? Где? Где? С кем?

— У Юльки, мама. У Юльки. Мы выпили за счастье. — И он положил руку матери на плечо, потому что ждал: сейчас она вздохнет освобождение и скажет: «Ну слава Богу, с Юлькой! А я думала, с какими-нибудь охламонами».

— Ты у нее был? Ты с ней пил? — Мать заговорила шепотом и потащила его в кухню. — У нее был день рождения? Или что? Сколько вас было?

Роман сел на трехногую табуретку и сказал, потому что не понимал, почему нельзя *этого* говорить именно матери, именно Вере.

— Мама, — сказал он. — Я считаю, что смешно и глупо скрывать все от тебя. Мы с Юлей любим друг друга... Сегодня мы дали друг другу все возможные доказательства... Я, мама, пьяный не от рома, а от счастья. Зря ты меня в ванную... И про ремень зря... Я хочу, чтоб вы знали это с папой, потому что сразу после школы мы поженимся. Это твердое решение... Скорее всего, я, мама, однолюб...

Роман говорил спокойно, и чем дольше говорил, тем лучше у него было на душе, потому что была правда, ясность. И эта его душевная ясность не допускала мысли, что он может быть не понят, тем более кем — мамой. А Веру сотрясал озноб. «Все возможные доказательства» — что это? Лучше бы напился, как скотина, где угодно и с кем угодно. Чепуха это по сравнению с тем, что он, дурак, лопочет! Женильба? Однолюб? Она ненавидела в эту минуту сына за то, что он серьезный и искренний, за все эти его идиотские моральные качества,

которые заставляют его признаваться во всем. Конечно, кругом виновата эта Юлька. Просто сучка — и все! И хоть Вере сейчас на сына смотреть противно — сидит, раскачивается и порет чушь, — но спасти его надо! Спасать от этой девчонки, от этой семьи, от Людмилы Сергеевны, у которой было три мужа (в запале Вера и Костю причислила к ее мужьям), а этот ее дурачок трясет знаменем: я однолюб! Я однолюб! Ты-то, может, и однолюб, но на кого польстился! Вере стало мучительно себя жаль. Хлопотала о переводе, лила крокодильи слезы перед двумя директорами. Тратилась на Мариуполь. Да мало ли ею сделано для сына, и это все для того, чтоб он ее сейчас прямо по голове этой новостью? Она гордо встала.

— Считаю, что я ничего не слышала, — сказала она Роману. — Потому что иначе к тебе надо вызывать «скорую» и везти в Кащенко. Ты псих. «Доказательства», «женитьба», «однолюб». Весь этот бред. Таких Юль у тебя будет миллион. Понял? Ничего серьезного в семнадцать лет не бывает. И не говори, — закричала она, — мне о Ромео и Джульетте! Им не черта было делать! Не черта! А у тебя десятый класс — кстати, Ромео был грамотный или нет? — потом институт...

— Ой, мама! — застонал Роман. — Остановись! — Он встал. — Все равно я рад, что тебе сказал. Теперь все ясно. — Он ушел в свою комнату и, в отличие от Юльки, сел за книги, потому что теперь это надо было двоим — и ему и ей — быть образованным, умным, знающим. Надо занимать место в жизни ради Юльки, ради будущих детей, ради гнезда, которое Юлька совет своими тоненькими обкусанными пальцами.

Костя высчитал угол поворота домов по отношению к дороге и нашел, что он нерационален. Именно такой угол дает возможность создания сквозных ветров в квартале. Он писал ядовитое письмо в «Литературку», когда услышал шум. Последнее время — он заметил — Вера стала громко говорить. Он еще не делал ей замечания, но, пожалуй, пора, что это за крики, у него лопаются барабанные перепонки. Вера стремительно вошла и закрыла за собой дверь и ухнулась прямо рядом на диван, что тоже было против правил: позвоночнику требовалась неподвижность, а сидящая рядом Вера слишком прогибала диван и этим вредила, вызывая возможное

обострение. Костя посмотрела на Веру сурово, но снова ничего не сказал: жена была не в себе.

— Что делать? — спросила она. — Что делать? Нашего дурачка сына опутала дочь твоей бывшей возлюбленной. Он пришел от нее выпивши... И собирается жениться...

Косте показалось, что его силой вытаскивают из теплой душистой ванны, вытаскивают в холодное, сырое помещение на сквозняк, на цементный пол... Приходится ежиться, хлопать ладонями по бокам, притопывать ногами, чтобы прийти в себя, а все эти движения им забыты и доставляют неудобства.

— Какой моей возлюбленной? — спросил он слабым голосом, призывая на выручку верного своего друга — Болезнь.

Но Вера сегодня сама не своя. Она кричит даже на него, больного!

— Какой! А у тебя их сколько было? Сто? Двести? Тогда уточняю — Людмилы Сергеевны. Лю-у-си! Люсеньки!

Что-то мучительно сладкое кольнуло в сердце и вызвало тахикардию. Вспомнилось, как старуха Эрна так обещала, так сулила ему счастье... »...Теперь, после этого вертопраха, она вас оценит, Костя!»

Вера тогда кормила Романа. Какой Костя был счастливый от посулов Эрны, а главное, можно было не скрывать радость: все понимали ее однозначно — сын же родился!

Старуха обманула. Ну и Бог с ней. Как бы еще все сложилось с Люсей, она вся такая эмоциональная, экспансивная, с Верой ему покойней. Пусть она только говорит тише и не бухается на диван.

— Что делать? Я тебя спрашиваю. Что делать?

— А почему такая паника? — освободившись от тахикардии, спросил Костя.

— Ну, влюбился, ну и что?

Вера второй раз за такое короткое время испытала жгучее чувство ненависти — теперь к мужу. Увиделось сразу все: и постоянное лежание, и бессмысленные подсчеты чьих-то просчетов, и то, что нет у нее мужчины в доме, а значит, снова, как всегда, придется все решать самой. А что решать и как решать, она не знает.

— Ну влюбился, ну и что? — снова спросил Костя, чувствуя, как прежнее умиротворенное состояние охватывает его и уже не надо притопывать и поеживаться.

— А если они начали жить половой жизнью? — просвистела Вера.

И Костя захохотал. Ну можно ли придумать что-то глупее? Роман — еще ребенок. Костя сам в этом отношении развился поздно. И потом... Где? Когда? Мальчик все время дома, ну вот сегодня уходил, но ведь на улице был день... Да и не такой он... Он робкий, жалостливый, а это, извините, несколько насиле... Он, Костя, сам в свое время этого боялся... Надо, чтобы нашлась опытная женщина, а так, девчонка, сверстница... Это невообразимая чушь!

— Не паникуй, Веруня! — сказал он ласково. — Ничего у него нет. Целуется где-нибудь украдкой в лифте.

— Ты что, не видишь современную молодежь? — зло спросила Вера. — Им же на все плевать. Они готовы отдаваться на глазах у всех!

— Молодежь во все времена одинакова! А первый признак старости, Веруня, брюзжание на ее счет. Рома! — закричал Костя громко. — Что ты делаешь, сынок?

— Решаю математику! — ответил Роман.

— Вот видишь! — усмехнулся Костя.

— От тебя помощи — как от козла молока, — сказала Вера. — Надо думать самой.

Она ушла в кухню и за привычной возней снова и снова вспоминала слова Романа. Что он имел в виду, говоря о доказательствах? Может, просто словесная клятва, тогда это ничего. Слов столько, что если их бояться — вообще жить не стоит. Уехать бы куда, уехать... Опять же десятый класс, куда тронешься? Надо было после девятого отправить его в Ленинград. У нее сестра учительница, она так прямо и предлагала: «Привози, сделаем Ромке медаль». Но потом прикинули, какой от нее, от медали, нынче прок, в вузе все равно экзамены. А надо было увезти на годик. Себя тогда пожалела — как без него? Год бы прошел незаметно, да и дорога в Ленинград скорая, можно было бы на субботу и воскресенье ездить... И мама всегда бы выручила деньгами — у нее персональная пенсия остается полностью. Ленинград, Ленинград... В этом слове была надежда. Был выход. За этим словом стояла вся Верина семья, готовая ринуться на помощь, если понадобится. Они не Костя. Они не отмахнутся. Они поймут. И помогут. Вера если и не успокоилась совсем, то все-таки увидела какой-то выход на случай разных обстоятельств.

Вот какое письмо получил Роман:

«Рома! Ты меня стал избегать. Я выхожу из класса, а тебя уже и след простыл. А может, это случайность... Но я хочу тебе сказать, что ты все это напрасно делаешь. Я стойкий человек и все вынесу. Твоя Юлечка не способна и на сотую часть того, на что способна я. Я готова для тебя на все, хоть сейчас. И я буду всю жизнь там, где ты. Я в институт поступлю в тот, где ты, хоть студенткой, хоть уборщицей. Так что можешь убежать, можешь не убежать — все равно. А Юлечку выдадут замуж за того, у кого есть машина. Я ее мамочку хорошо знаю. А твоя мама — простая труженица, как и моя. Всю жизнь вкалывает. А это тоже, Рома, важно, кто чей сын или дочь. Я не такая дура, как ты думаешь, разбираюсь в жизни. Поэтому давай договоримся ходить из школы вместе.

Алена Мне знакомая продавщица сказала, что над вами весь универмаг уже смеется, все вас там знают и показывают пальцами».

Письмо лежало сверху на Романовом столе, и Вера его прочла. Потом она накапала двадцать капель настойки пустырника, двадцать капель боярышника и запила всем этим таблетку седуксена. Десять минут назад Роман ушел в универмаг за молоком и кефиром. И ведь всегда в одно и то же время. Думалось, это от его четкости, организованности, а оказывается, весь «универмаг смеется». Но больше всего Веру возмутило это сравнение ее с парикмахершей, Алениной матерью. Знала она ее, считай, с первого класса, кто ее не знал, крикастую бабу. И что же они — ровня? Вообще-то, конечно, странные это мысли для нашего времени, когда все равны, но почему ее к одной приблизили вплотную — «простая труженица», а от другой отделили пропастью! От этой треклятой Лю-ю-си, Люсеньки. Но ведь если пропастью, то это хорошо! Ведь она порядочная женщина, а кто та? Вера кипела бы гневом, не выпей она столько всего, а сейчас ее поедом ела вялая, но какая-то прилипчивая обида, хотелось плакать со стоном, но плакаться было некому, и она, надев самые удобные туфли, пошла в универмаг. И нашла их сразу.

Они сидели, прижавшись лбами, на своем «берегу», а Сеня и Веня лежали зелеными носами у них на коленях.

— ...Мой отец постоянно дома, даже в хорошую погоду...

— Я думала о бабушке Эрне. Надо бы ей купить билеты в кино.

— На пять серий...

— На одну бы... Но она безумно хитрая. Сразу заподозрит.

— Ты только не страдай. Ладно? Ну, переживем мы этот год. В конце концов это-то место всегда наше.

— Я просто не понимаю, почему мы должны мучиться? Какой в этом смысл?

— Все влюбленные во все времена мучились. Такая у Господа Бога хорошая традиция! А традиция, Юля, это — о! Не переплыть, не перепрыгнуть!

— Ты все шутишь. Если бы я могла все время слышать твой голос, я бы все переносила иначе.

— Я наговорю тебе пластинку.

— Слушай! Наговори! Запиши все, все твои шутки, и я буду их слушать.

— Какие шутки, Юлька?

— Какие хочешь...

— Я лучше скажу, как я тебя люблю...

— Нет, это не надо. Это я знаю, что-нибудь неважное. Просто твой голос... И он будет у меня все время звучать. Хоть таблицу умножения...

Вера ждала, когда они поднимутся. А они не вставали. И тут она почувствовала ту их отделенность от всех, о которой сами они не подозревали. Значит, это так серьезно? Она посмотрела на продавщиц игрушечного отдела. Безусловно, они их знают. Переглядываются между собой понимающе. Одна, снимая с полки плюшевого мишку, сказала другой: «Завидую». Может, совсем по другому поводу, но Вера решила: о них, о ком же еще? И тогда она растерялась: что же делать? Как было бы хорошо, если б вокруг действительно смеялись или показывали пальцами, как писала эта девочка, тогда можно было бы подойти и взять сына за руку, и вывести его из круга, в который он попал, и сказать: «Смотри, дурачок, над тобой смеются». Но подойти было нельзя. Они были вне ее досягаемости, как и вне досягаемости всех. «Надо звонить в Ленинград», — подумала Вера и пошла назад, не оглядываясь, потому что все равно видела их перед собой, прижавшихся и отделенных. Что она скажет? Маме, сестре? В какую-то минуту она хотела повернуть назад, потому что представила всю бессмысленность разговора по телефону: «Мама, Роман влюбился». —

«Ну и что!» «Хочет жениться». — «Глупости. В десятом-то?» — «А сейчас сидит в универмаге с ней. Никого не видит. Я была от него за три метра». — «А кто она? Она кто?» — «Ах, вот это самое главное. Она дочь Костиной возлюбленной. Той самой, за которой, позови она его сейчас, и он уйдет. Даже выздоровеет, если она этого захочет».

Вот оно, самое главное. Почему это? Потому что Лю-ю-ся, Люсенька не могла полюбить Костю, а эта девчушка — ее дочь. Бедный Роман, бедный мой мальчик! Сидишь там такой прекрасный, а потом будешь прыгать ради нее через газон. И никому, слышишь, никому, кроме матери, нужен не будешь.

— Как что делать? — затараторила сестра уже на самом деле. — К нам немедленно! Не хватало нам женитьб в десятом. Все было — этого еще не было! Веруня! Не будь рохлей. Это такой возраст, это все естественно, но никому не вредило хирургическое вмешательство. Только благодарят потом. Десятый класс! Ты что, считаешь, что он там сейчас учится? Другая школа — это полумера. Я тебе это сразу говорила. Сюда, сюда... У нас другой климат

— и в прямом и в переносном смысле. Мы его остудим... Как? Минутку, минутку... Соображаю... Веруня! Это просто... Он у тебя человек долга? Да ведь? Надо его этим купить! Именно этим, слушай...

Все было представлено так.

У бабушки предынсультное состояние — покой, покой и покой. Мама не может уехать, потому что нездоров папа. Тетя работает во вторую смену, и бабушка остается одна в громадной квартире («Воды подать некому»). А дядя, как на грех, в командировке, будет не раньше, чем через три месяца, — сам знаешь эти арктические командировки. А школа во дворе. Роман — помнишь? — учился в ней в четвертом, когда у Веры была болезнь Боткина. Прекрасная школа. Первая смена. Тетя там — авторитетнейший человек, как и вся их семья потомственных петербуржцев.

— Конечно, если надо, — растерянно сказал Роман. — Но так не хочется уходить из этой школы, здесь такой приличный математик.

— Есть вещи поважнее, — сказала мама.

— Безусловно, — ответил Роман. — Сколько это может быть — месяц, два?

— Откуда я знаю? — раздраженно ответила Вера.

А Костя молчал. Вере удалось криком пробиться сквозь Болезнь и объяснить ему, «как они сидели в универмаге» и «как на них смотрели». Она дала ему и письмо Алёны. В этом письме его задела фраза о машине. Никогда у него не было этой машиномании, а у Людмилиного первого мужа, летчика, тоже, кажется, была машина. Так, может, действительно ларчик просто открывался? Удовлетворенно подумалось: так вот что вы, женщины, цените превыше интеллигентности и преданности, вот вы какая, Людмила Сергеевна. Вам нужны ко-ле-са! Пусть едет Роман, пусть! Не хватало мальчику его разочарований. Сколько лет, сколько дней и ночей думал он о ней. Даже сейчас, когда уже у сына «ситуация», он временами волнуется по-прежнему. Форсайтизм какой-то! Но именно найденное слово приподняло бедную событиями жизнь Кости на какую-то высоту. Он казался себе средоточием непонятных чувств, пылких страстей.

Очень хорошее слово — форсайтизм.

Стало уже холодно, и шли дожди, а Роман и Юлька уехали за город. Им негде было побыть одним, и они бродили в лесу.

— ...Ты что мне наговорил на пластинке?

— Как просила. Таблицу умножения.

— Ты мне будешь писать?

— Каждый день...

— Каждый день не надо... Хотя бы через один... А что, твоей бабушке совсем-совсем плохо?

— Предынсультное состояние... Это как предынфарктное.

— А что хуже?

— А я знаю? Оба лучше.

— Ромка! Давай умрем вместе.

— Согласен. Через сто лет...

— А я согласна и через пятьдесят.

— Мало, старушка, мало... У меня очень много неделанного.

— Я тебе помогу. Тем более что у меня сделано все. Я просто не знаю, что мне целыми днями теперь делать... А! Знаю! Буду слушать твою пластинку.

— Юлька! Ты все-таки потихонечку учишься...

— Зачем, Рома, зачем? Я не вижу в этом никакого смысла.

— Ради меня...

- Я ради тебя живу, а ты говоришь — учись...
- Юлька!
- Рома! Не уезжай! Бабушкам все равно полагается умирать...
- Юлька!
- Ромка! Они все против нас! Все!
- Да нет же... Это — стечение обстоятельств.

Алена ворвалась в класс, как сумасшедшая, и швырнула в Юльку портфель.

— Это от тебя его, как от чумы, выслали. Это все ты!

Юлька смотрела, как выкатываются из Алениной сумки-портфеля ручка, карандаши, банка сгущенки и батон в полиэтиленовом пакете. Потом Алена наконец увидела всех. Она оседлала первую парту и произнесла речь.

— Эта штука, — тычок в Юлькину сторону, — не дает человеку учиться. Отсюда, — тычок в сторону класса, — его спасли. Так она и там ему не давала покоя. Это, по-твоему, любовь? — Юлька ошалело смотрела на нее. — Любовь — это когда берегут. Но с такой убережешь! — И тут Алена зарыдала, просто, по-бабьи...

И к ней все кинулись. А к Юльке не кинулся никто, никто не остановил ее, когда она пошла к двери.

И тогда выступил Сашка. Он говорил, как убивал:

— Ты противна всем этими своими слезами. Посмотри на себя. Чего добилась? Просто она взяла и ушла. Потому что рядом с тобой ей делать нечего. Она не завопит дурным голосом тебе в ответ. Она не такая. Она из тех, кто уходит. Ты из тех, кто орет. Улавливаешь разницу?

Таня потом скажет: у меня появилась одна возможность убедиться, что в этом возрасте симпатии отдаются не самым умным и не самым сильным, а тем, кто в данный момент эмоционально убедительней. Какая-то повальная тяга к обнаженному чувству, даже если под ним спектакль, розыгрыш. Идет быстрый клев на искренность. Любую. Любого качества. Любой густоты и наполненности. Поэтому-то класс так мгновенно перекинулся на сторону Сашки.

— ...А что там было на самом деле, братцы?

— Тебе-то что? Было — не твое, не было — не твое...

— Просто любопытно, что происходит с современниками?

— Старшие бьют младших. Закон детсада.

— Все-таки? Все-таки? Все-таки?

— А я кретин. Думал, все чисто, как в операционной. Математический уклон, бабушкин инсульт. А это все туфта? Смысл?

— Нельзя любить до положенного срока!

— Они идиоты. Такие вещи надо прятать. Предков надо обманывать, заливать им сироп.

— Предки тоже пошли ушлые. Придешь домой — тебя и обнюхают, и общупают.

— Так я и дам! Пусть попробуют! Я свободный человек в свободной стране.

— Вот и попробуй приведи свою подругу и оставь ночевать.

— Зачем ночевать? У нас тесно. Но если мне что надо...

— Надо уметь себя защищать. А Роман всегда был гуманистом.

— Это что — уже ругательство?

— А ты только сейчас на свет народился? Знаешь, какой есть у людей принцип: кто не кусает, тот не живет. Вот такие челюсти вставляют, чтоб кусать, на электронной технике, захват метровый, ам — и нету гуманиста.

— Вот Алена. Типичный представитель нашего времени, пришла и съела Юльку. Просто так, за здорово живешь. Вкусно, Алена?

— Бросьте, — вмешалась Татьяна Николаевна. — Наговорились! У вас не челюсти — языки на электронике, не устают.

— А что вы, как педагог, думаете по этому поводу?

— Я не думаю. Я не знаю. Я первый раз слышу, что Роман уехал. Откуда я могу знать?

— Ха! А по Юльке не видно?

Сказать Тане было нечего...

Так случилось, что она знала ленинградских родственников Романа. В позапрошлом году зимой она делала туда вояж с бывшим другом Мишей Славиним. Планировалось изысканное аристократическое турне — с гостиницей, Эрмитажем, БДТ и прочая, прочая, но все мечты нокаутом побила действительность. В гостинице мест не было, а если бы и были, им бы их все равно не дали: в паспорте не было необходимых штампов. Пришлось что-то искать. И нашли. Танин друг — раскладушку в коридоре, которую любезно

выставила администраторша «Москвы». (С каким злорадством она на Таню смотрела! Просто откусила электронной челюстью кусок причитающегося лично Тане счастья и не подавилась.) А Тане тогда пришлось воспользоваться адресом, который почти силой навязала Вера: «На всякий случай!» Она была обречена на изысканный домашний сервис и бесконечные семейные разговоры. Таню убила Верина родня. Убила их всепоглощающая уверенность в правильность своей жизни и своего предназначения. То есть ни грамма сомнения ни в чем! Даже безвременные смерти и потери в их родне воспринимались как нечто исключительно закономерное. Кто умер — тому *надо было* умереть. Кто жив — тому *надо* жить. Большая квартира была олицетворением этого удручающего оптимизма. Всюду по стенам висели портреты улыбающихся, смеющихся, хохочущих людей. Портреты красиво перемежались яркими грамотами и дипломами только первых степеней. Центром семьи была бабушка, вернее, мать. Бабушка была в курсе всего, читала все газеты и откликалась на все события письмами в редакцию: «Им надо знать мнение народа». У бабушки в жизни было одно слабое место — Вера. Младшая дочь жила не так активно, как бы хотелось бабушке. «Это от веса? Скорее всего.» И она доставала Верины фотографии, где Вера улыбалась, смеялась, хохотала. С мячом и без, в купальнике и длинном платье для хора, Вера одна и Вера в коллективе. Но всюду Вера — стройная и смеющаяся.

— Это роды, — со вздохом говорила бабушка.

А поскольку родами появился Роман, то, естественно, он должен был являть собой компенсацию за несколько утраченный Верой оптимизм.

— Переехали бы они к нам, — говорила бабушка Тане, — и мы бы быстро вернули им эликсир бодрости. Вы знаете, когда я у них, Костя просто подымается из праха... У них тогда другой климат. А Ромасик ходит колесом от радости...

Таня едва выжила те четыре ленинградских вечера. «Каково там сейчас Роману! — думала она. — И что, действительно прединсультное состояние? У бабушки?!»

Таня звонила в дверь Лавочкиным и уже знала — ничего не случилось. Вера пела в полный голос, и было слышно по этому голосу, что у нее хорошее настроение. Она открыла ей и замерла: то ли от

удивления приходу уже *бывшей* учительницы сына (с чего бы это?), то ли от предчувствия, что так просто Таня не пришла бы, значит?.. Значит, что? Что все это значит? А Таня смотрела на ее прическу, на эти похожие на торт сооружения из лакированных, или, как говорят парикмахерши, «налаченных» колбасок с затвердело загнутой прядью на лбу. Тупейный Ренессанс. Символ жизненного благополучия. Апофеоз оптимизма.

— А мы с Костей в театр собираемся, — сказала Вера.

Она все-таки впустила Таня в квартиру, предварительно закрыв дверь в маленькую комнатку, где успели мелькнуть Костины голые ноги, высоко поднятые на диванные подушки.

— Я ничего не знала, — сказала Таня сразу. — Вы отправили Романа в Ленинград? У бабушки инсульт?

Какое-то секундное время Вера смотрела на Таню, будто соображая, что же ей ответить. И тут же махнула рукой.

— Да что перед вами ломать комедию, — сказала она искренне. — Мы разыграли Ромку, чтоб только увезти отсюда. Он, наш дурачок, влюбился. Другая школа не помогла, они все равно встречались. Ну вот и пришлось придумать инсульт. А мама моя стара уже, стара... Наша маленькая ложь, может, и недалеко от истины. А вам спасибо, что пришли. Вы добрая, чуткая... Забеспокоились... Вас мои в Ленинграде полюбили.

Как они могли полюбить ее, Таня приблизительно представляла, а Вера накручивала, накручивала, «лачила» действительность, откуда столько слов взяла, а потом призвала и Костю. Таню превратили в желанную гостью, усадили в кресло, что-то говорили о том, что третий билет вполне можно взять с рук, в конце концов идут не на Таганку, не в «Современник», а на старую, старую вещь «Странная миссис Сэвидж», так что вполне может получиться... Если еще прийти пораньше...

— ...Эта атавистическая манера — следовать сердцу, — говаривал, бывало, Танин друг. — Ну скажи, к чему это приводит, кроме неприятностей? Импульсы, рефлексy, порывы... красная цена всему — пятак. Ну, я не отрицаю, не отрицаю влечение, например, я к тебе влекусь... Но хорош бы я был, если бы не контролировал себя логикой, здравым смыслом.

— Что бы тогда было? — спрашивала Таня.

— Мы бы строили с тобой воздушные замки вместо кооператива...

— Но кооператив мы ведь тоже не строим.

— Потому что я не Чехов. И во мне не все прекрасно. Так ведь?

Это было не так, но Таня молчала. И сейчас все было не так у Лавочкиных, не так, как надо, по ее разумению. Ей *ничего* было выяснять, *ничему* было помогать, она все знала, ей *все* доверили, и она могла пойти с ними на «Странную миссис». Странная была ситуация, до конца открытая и до конца спрятанная.

— А если все-таки Роман узнает? — спросила Таня.

— Да что вы! — засмеялась Вера. — Когда узнает — скажет спасибо. Для него же? Для него! Кабы это кому-то из нас было выгодно, а так ведь только ему. Разные Юли у него еще будут. И, даст Бог, получше. А то если эта в маму, так пусть вам Костя скажет, что это значит...

Костя заерзал. А Вера засмеялась молодо, радостно и, взяв его по-матерински за ухо, передразнила:

— «Лю-ю-ся! Люсенька!» Это он как-то так кричал, — пояснила она Тане. — И через газон прыгал.

— Ну-ну, — пробурчал Костя. — Уж и прыгал.

А Вера держала его за ухо и, наклонив голову-торт, подмигивала Таня заговорщицки.

— Ромасика от этой семьи спасти надо было, — сказала она убежденно. — Там у мамы муж не первый и, наверное, не последний.

Таня отказалась от театра — смотрите: не причесана, — и Вера, до этого такая настойчивая, тут вдруг с ней согласилась. Это, конечно, причина. Она легко, нежно, ладонью тронула свои колбаски-спирали и сказала:

— Что значит — прическа! Совсем другое ощущение. Я с Романом последний год закрутилась и себя не помнила. А теперь решила — все. Хожу регулярно. За собой следить надо. Это точно. Только разве мы о себе помним? Все о других, все о других.

Видимо, имелись в виду Танины пряди. Вера уедала ее с высоты своего Ренессанса. Зачем Таня пришла? Узнать правду? Тогда визит можно считать удачным. Она ее узнала.

Вера закрыла за нею дверь и тут же запела. Кажется, в ней начинал взыгрывать и давать плоды наследственный оптимизм.

«Юлька! Слушай мою таблицу умножения. Дважды два будет четыре, а трижды три — девять. А я тебя люблю. Пятью пять, похоже, — двадцать пять, и все равно я тебя люблю. Трижды шесть — восемнадцать, и это потрясающе, потому что в восемнадцать мы с тобой поженимся. Ты, Юлька, известная всем Монголка, но это ничего — пятью девять! Я тебя люблю и за это. Между прочим, девятью девять — восемьдесят один. Что в перевернутом виде опять обозначает восемнадцать. Как насчет венчального наряда? Я предлагаю серенькие шорты, маечку-безрукавочку, красненькую, и босоножки рваненькие, откуда так соблазнительно торчат твои пальцы и пятки. Насчет венчального наряда это мое последнее слово — четырежды четыре я повторять не буду. В следующей строке... Учись хорошо — на четырежды пять! Не вздумай остаться на второй год, а то придется брать тебя замуж без среднего образования, а мне, академику, — семью восемь, — это не престижно, как любит говорить моя бабушка. А она в этом разбирается. Так вот — на чем мы остановились? Академик тебя крепко любит. Это так же точно, как шестью шесть — тридцать шесть. Ура! Оказывается, это дважды по восемнадцать! Скоро, очень скоро ты станешь госпожой Лавочкиной. Это прекрасно, Монголка! В нашем с тобой доме фирменным напитком будет ром. Открытие! Я ведь тоже — Ром! Юлька! У нас все к счастью, глупенькая моя, семью семь! Я люблю тебя — десятью десять! Я тебя целую всю, всю — от начала и до конца. Как хорошо, что ты маленькая, как жаль, что ты маленькая. Я тебя люблю... Я тебя люблю...

Твой Ромка».

Людмила Сергеевна плакала, слушая пластинку. Она даже не подозревала, что в ней скрыто столько слез, что они способны литься и литься. Бесконечно, потоком... Никогда она не любила Юльку, как сейчас. И от этого неожиданно заново вспыхнувшего чувства все остальное казалось малосущественным. И какая-то животная привязанность к сыну, и такая же слепая любовь к Володе, и вся ее подчиненная одному Богу — молодости! — жизнь. Юлька выросла и

ее любят. И Людмила Сергеевна вдруг поняла — любовь ее дочери сейчас, сегодня важнее, чем ее собственная. Потому что у нее, слава Богу, все в порядке. Она сильная баба, во всем сильная: в любви, в деле, в материнстве, а у дочери — Господи ты Боже мой! Все так тоненько, хрупко, там все убить можно не прикосновением — взглядом, дыханием. Эта маленькая дурочка слушает свою пластинку под одеялом. А через тоненькую современную стенку лежит и мается без сна непутевая их соседка Зоя. Напьется на ночь ведром кофе и слушает, слушает чужую сладкую любовь.

— Слушайте, соседка! — сказала она вчера. — Вы в курсе или нет?

— Чего? — спросила Людмила Сергеевна, как всегда шокированная Зоиней фамильярностью.

— Ну, насчет пятью пять — Юля замуж хочет?

— Вы что?

— Как вам будет угодно! Но ночами я не сплю: слушаю, как ваша дочь по сорок раз ставит одно знаменитое звуковое письмо. Стучала ей в стенку — не слышит! Теперь даже привыкла, греюсь у чужого костра. Только не говорите, что я вам натрепалась. Просто вы ходите в неведении, и вас же потом — бух по голове новостью. Послушайте, а потом скажете свое впечатление.

Пластинка лежала под матрасом. Трижды обернутая мохеровым шарфом.

Людмила Сергеевна с интересом поставила: что там еще за новости? А теперь поняла, что никогда так не любила Юльку, как сейчас. Девочка ты моя, девочка! Несчастливая ты моя, счастливая! Чем же тебе помочь, как?

Вечером она уже знала все. Про insultную бабушку, про то, что Юлька во все это не верит, никакой бабушки нет, никакого инсульта тоже. Узнала Людмила Сергеевна, что письма от Романа приходят странные, будто Юлька ему не пишет. А она пишет, пишет, каждый день пишет. Но он, Ромка, глупый, он людям верит. Зачем он дал свой домашний адрес? Вот она, Юлька («Мам, ты только не сердись!»), сразу решила, что надо писать «до востребования». А он, наоборот, что так будет быстрее: «Я проснусь, а в ящике твое письмо!» Юлька сказала: «Ромка, перехватят!» — «Дурочка! Кому могут быть интересны мои письма, кроме меня?» Он такой. Он идеалист. Он

думает, что у него мать хорошая, а Юлька ее ненавидит, потому что знает: Юльку тоже ненавидят. «Ты, мама, извини, но я и о тебе так думала. Я помню, ты к Роману ведь не очень... Губы вот так делала...» И Юлька «сделала губы», какие будто бы делала Людмила Сергеевна, когда говорила о Романе. Что было — то было. Но это когда! Что она тогда знала? Роман — сын Кости. Боже, какая чепуха! Вообще все те, давешние, мысли потеряли очертания, расплылись. Все эти страхи, что Роман будет такой, как Костя или его мать, эта шестипудовая клуша. Какое это имеет значение, если Юлька любит именно этого мальчика? Разлюбит *Костиного* сына обязательно? Но ведь тогда будет совсем другая история, другой разговор. И вообще — при чем тут они все со своей уже прожитой жизнью, если пришли другие? Она, Людмила Сергеевна, готова по-новому, по-родственному полюбить и Костю и Веру. Потому что родилось что-то совсем новое — и к тому, что было у нее, это уже не имеет никакого отношения. Надо узнать, что там с инсультной бабушкой и куда деваются письма, если девочка их шлет каждый день. Людмила Сергеевна держала Юльку на коленях, и баюкала ее, и гладила. Володя вошел, посмотрел, ничего не сказал и унес сына погулять.

— Я накопила деньги, — тихо выдохнула Юлька. — На Ленинград...

Расслабились руки у Людмилы Сергеевны, хотелось ей застонать, заплакать, и Юлька это сразу почувствовала.

— Вот видишь, — сказала она. — И ты...

— Давай немножко подождем, — прошептала Людмила Сергеевна. — Ты девушка... Ты должна быть гордой...

Юлька засмеялась.

Алена вернулась в старую школу. Снова все подивились этому нелогичному характеру. После всего, что было, после пламенной Сашкиной речи, казалось,

— беги этой школы, носа не кажи. Но она пришла и поставила свой портфель-сумку на Юлькину парту.

— Я с тобой сяду, — сказала она.

И Юлька ничего, дернула плечами, как согласилась.

Было в этом что-то одновременно и удручающе равнодушное, и величественное. Как будто ей было все равно и тем не менее она

снисходила. А было ни то, ни другое — было третье. Юлька просто не помнила, кто такая Алена, откуда и зачем она взялась. И скандала того не помнила. Потом у нее спрашивали: «А здорово тогда Сашка Алenu отчихвостил?» Она снимала очки и терла глаза, а крепко закушенная губа говорила: «Да, да, я вспоминаю... Что-то было... Сейчас совсем вспомню... Это из-за Романа...» Но стоило произнести его имя, все начиналось сызнова: затопляла Юльку тоска. Не хотелось говорить, думать, вспоминать, реагировать. Мир из цветного становился черно-белым, из многоголосого — монотонным, из объемного — плоским. Училась она по-прежнему плохо, учителя жаловались на нее каждый день, требуя мер и выводов.

Таня попросила Юльку проводить ее домой, вручив ей пару стопок сочинений.

— Юля, — сказала она. — Все скверно. Я понимаю. Но школу-то кончать надо.

— Я кончу, — ответила Юлька.

— Не очень это видно. У тебя почти по всем предметам между двойкой и тройкой.

— Ближе к тройке, — равнодушно сказала она. — А мне больше и не надо.

— Юля, — робко начала Таня. — Тебе это трудно сейчас представить, но ведь жизнь складывается не только из любви. Только любовь — это, если хочешь, даже бедность. Во всяком случае, потом обязательно поймешь, что бедность.

— «Жизнь — ведь это труд и труд, труд и там, и здесь, и тут...» — В глазах Юльки мелькнула насмешка. — Это вы хотите сказать?

— А что? — ответила Таня. — Смешно, но правда.

— Я тоже буду работать. Куда я денусь? Буду делать что-нибудь доступное моему уму...

— Опять впадение в бедность? А вдруг есть что-нибудь не просто доступное — интересное твоему уму?

— Возможно, — ответила Юлька. — Кто что знает?

— Так ведь об этом надо посоображать заранее.

— Я соображу потом.

— Когда вернется Роман?

— Я не знаю, когда он вернется! — закричала Юлька. — Сегодня у бабушки инсульт, завтра она умрет, потом надо будет ходить на

дорогую могилу потом утешать тетю, потом еще что-нибудь... Ромка — дурак. Он отрастил себе такое чувство долга, что его уже носить трудно. Я пишу ему об этом в каждом письме. Я говорю: пошли ты свою бабушку чертовой матери, но он не получает моих писем! Почему? Куда они деваются?

— Ну, зачем же ты так! — Таня даже испугалась.

Она представила, как перехватывают Юлькины письма, какому глубокому разностороннему анализу подвергаются Юлькины отчаянные вскрики, и испугалась за нее.

— Юлька, — сказала она, — не пиши глупостей больше. А чувство долга — это прекрасно. Когда вы поженитесь, ты поймешь, как это надежно, как спокойно — иметь мужем человека с чувством долга. Для мужчины это первейшая доблесть.

— Чепуха, — резко сказала Юлька. — Я думала над этим. Долгом человека вяжут.

— Глупости, — сказала Таня. — Но даже если принять твои слова за истину, так, наверное, хорошо, что есть нечто, побуждающее человека ухаживать за больным, кормить стариков, беречь детей.

— Только любовь вправе побуждать, — ответила Юлька и так взмахнула стопкой, что тетради разлетелись во все стороны.

Они отлавливали их вместе. Юлька ползала на коленках по тротуару и подавала их Тане пыльными, не отряхивая, с каким-то пренебрежением.

— Ну за что ты их так? — спросила Таня.

— Полное собрание сочинений лжи! — сказала Юлька презрительно.

— Как же тебе не стыдно! — возмутилась Таня. — Я когда-нибудь от тебя требовала лжи?

— Правды тоже не требовали. А напиши я вам, что не люблю школьную литературу, что бы вы мне поставили?

— Я бы сказала, что ты кривляешься!

— Конечно, кривляюсь, — вдруг сразу согласилась Юлька. — Я «Хождение по мукам» люблю и пьесы Горького... И Маяковского тоже.

— Слава Богу! — сказала Таня.

— И все равно это собрание сочинений лжи, — ткнула Юлька пальцем в стопку. — Ваш долг — вдалбливать нам прописные истины,

наш долг — повторять их, не думая.

— Думая! — закричала Таня.

— Я-то думаю... Только ни до чего хорошего додуматься не могу.

— И это когда ты любишь! И тебя любят!.. Юлька, а ты представь, что у тебя несчастливая любовь! Каким же тебе тогда показался бы мир?

— Я бы просто не жила, — прошептала Юлька.

— А я живу, — сказала Таня. — Временами мне ужасно плохо, но не жить... Это мне не приходило в голову.

Юлька молчала.

— А ты представь: ничего у меня в жизни нет, кроме несчастливой любви. Ни мамы, ни школы, ни вас, ни долга... Но я, Юлька, всем этим повязана, и это меня держит. Кстати, очень надежно, девочка.

Юлька мотала головой.

— Это же не может быть у всех одинаково, — говорила она.

— Не может, — ответила Таня. — Конечно, не может. Но если ты будешь помнить, что кроме Романа есть на свете мама, брат, люди, книжки, кино, то, честное слово, и Роману и тебе будет от этого лучше. И учиться надо, чтоб, во-первых, не быть дурой, а во-вторых, чтоб не витийствовать там, где истина — назовем ее прописная — найдена до тебя.

— И все-таки как вы живете без любви? — спросила она Таню, и в глазах ее стояли недоумение и сострадание.

А что было в глазах Миши, когда они столкнулись недавно в больнице? Таня ходила проводить учительницу младших классов, у которой приступ аппендицита случился прямо на уроке. Миша появился перед ней неожиданно, и она ему сказала:

— Ты как черт из табакерки...

Миша захохотал:

— Узнаю тебя, родная, по литературно-историческим сравнениям... Ты прелесть. Где ты видала табакерку с чертом? — И завертелся. — Ну, как жизнь? Не вышла замуж? Впрочем, я знаю: не вышла. И знаешь — радуюсь. Каков я гусь? Это оставляет мне надежду. Хотя я не жалею. Моя молодая супруга милая, простая, без кандибоберов. Чехова она знает только благодаря телевизионной

пропаганде. Считает его нудным. Я с ней горячо соглашаюсь. Но если бы ты, Таня, посмотрела на меня не с таким превосходством...

Она пошла от него. Ее спина была тверда и не показывала, что Таня плачет. Плачет оттого, что уходит молодость, что человек, которого она любит, копейки не стоит, — и она знает это, а ничего не может с собой поделать.

Таня выходила из больницы плача, и вслед ей говорили: «Вот еще кто-то умер... Год беспокойного солнца, мрут, как мухи...»

В больнице удобно плакать над самим собой. В больнице слезы выглядят естественно.

«...И тебе нечего было сказать! — воскликнула вечером Танина мама. Давно ее не было, а тут пришла. — Ни девочке, ни ему... Нечего! Нечего! Нечего!» Таня громко, на всю мощь включила приемник. Хватит с нее этих мистических экзекуций. Не хочет она вести этот бесконечный разговор-спор с мамой, которой нет. Не хочет! Надо было разговаривать раньше... Тогда, тогда... В ее десятом классе.

— Ты помнишь мальчика, который в десятом классе возил меня на велосипеде?

«Коля Рыженький? Ты всем повторяла: «Рыженький — это фамилия, Рыженький

— это фамилия...»

— А помнишь, как ты злилась? У человека должна быть высокая цель. Крутить целый день педали — безнравственно... А мы были влюблены... И единственное наше пристанище было — велосипед... Какое это было счастье ехать с ним на велосипеде... Он целовал меня в затылок... Ты знаешь... Лучше этого ничего не было в жизни...

«Ну и выходила бы за него замуж...»

— А ты кричала... Что это за фамилия — Рыженький! Неужели можно стать Рыженькой!

Людмила Сергеевна решила сходить к Вере на работу. Она не хотела идти к ним домой из-за Кости. Она не была уверена, что встреча с ним не испортит задуманный разговор. Каким-то десятым чувством она понимала: Костя будет смотреть по-собачьи, будет поджентльменски подсовывать ей подушки под локоть, будет смотреть умиленными глазами и восстановит против нее Веру. Тогда ничего из разговора не получится. И она пошла к Вере на работу, пошла без

традиционной, на «выход», прически, без серег и буб, пошла в болоньевом плащике и Юлькином берете, вся такая неяркая, неброская — женщина из толпы. Она собирала слова, которые скажет Вере. Людмила Сергеевна боялась только одного: что заплачет. Это как раз не нужно. Слезы

— всегда в первую очередь горе, несчастье, а она хотела посеять и взрастить в Вере радость. Она хотела, чтоб то состояние, которое она несла в себе, прослушав пластинку, стало и Вериним состоянием. Она придумала первую фразу: «Поговорим как женщины и матери». Что там у них? Дважды два

— четыре, а трижды три — девять. Я люблю тебя, Юлька! Господи, какое это счастье, скажет она, если сразу *такая* любовь! Сколько лет пропало у нее, невосполнимых, беспросветных, пока она, вся растерзанная бабьими неудачами, не нашла Володю... А тут... Она так и скажет Вере: «Им повезло сразу...»

У института, где работала Вера, стояла «скорая». Не пройдешь квартала — обязательно «скорую» встретишь. Это она тоже скажет Вере. Их, детей, надо беречь. Беречь им нервы. Пусть они любят, пусть... «Скажите, Вера, голубушка, кому от их любви плохо? Кому она помешала?» Людмила Сергеевна нашла Верин отдел и открыла дверь.

— Она в министерстве, — сказали ей. — Сегодня не будет. Что-нибудь передать?

«Ну, вот и все, — подумала Людмила Сергеевна. — Второй раз мне уже не решиться».

Не высказанное Вере (а какое хорошее!) по каким-то причудливым законам начало в ней видоизменяться. Подумала: вот приедет ее дурочка в Ленинград. Что о них подумают? А скажут? Да все, что угодно, может быть. И оскорбления и насмешка. А Юлька растеряется, и как поведет себя мальчик — неизвестно, мало ли на что они могут толкнуть детей? Не поедет Юлька. Не поедет! Не пустит она ее!

С этой твердой мыслью вернулась домой Людмила Сергеевна, Юлька сидела, в кухне в обнимку с синей аэрофлотовской сумкой.

— Ма! — крикнула она. — Хватит быть гордой. У меня через два часа самолет.

А в Ленинграде все было так. Юлькины письма, прочитанные и связанные тесьмой, лежали у тетки Романа в столе. Их добросовестно копили. Еще до того, как пришло самое первое, бабушка пригласила в дом почтальоншу Лену для конфиденциальной беседы.

— Лена, — сказала бабушка. — Ты знаешь нашу семью.

Лена знала. Перед большими праздниками она помогала им с уборкой, сейчас в прихожей висело ее пальто, которое два года тому назад отдала Лене бабушка. Хорошее драповое пальто с цигейковым воротником. Никаких денег с Лены, конечно, не взяли, хотя пальто было совсем невыношено. А за уборку платили всегда щедро. Все считали — и мытье окон с карниза, чистку кафеля вонючим де-иксом, и промывание батарей от пыли. Тетка и бабушка тоже не сидели в такие дни, а трудились бок о бок с Леной. После всего вместе пили чай с пирожными и вели интересные разговоры о демократизме, который основа основ и который Лена вот сейчас особенно должна чувствовать. «Лена, берите пирожное, не стесняйтесь». Но, наверное, Лена была холопской натурой, потому что, несмотря на все это, она знала свое место — место приходящей домработницы и человека, стоящего в жизни по эту сторону экрана. Бабушку Романа показывали по телевизору, а Лена смотрела. Наоборот не было. Поэтому предложение приносить письма, адресованные Роману (если таковые будут!), лично бабушке, и ни в коем случае не в ящик смутило Лену только на секунду («Нарушение же!»). И если б это сказал кто другой, Лена могла бы такое ляпнуть и так послать, что не опомнился бы, но тут... Лена подавила в себе на секунду вспыхнувший протест. Всего один раз Роман сумел ее перехватить прямо выходящей из почтового отделения, когда она еще не успела переложить письмо от Юльки в драповый карман. Всего один раз. Потому что после этого случая бабушка ее строго отчитала («Вы, Лена, не помните добра»), и теперь она прятала Юлькины письма уже на сортировке, благо буквастые конверты просто выпирали из кучи, будто просились Лене в руки.

Иногда особенно слякотная погода вызывала в Лене раздумья о превратностях жизни. Вот, мол, пишет, девочка и думает, что кто-то там получает. Глупая молодежь, не научилась еще хитрить. Со временем, конечно, научится. Небольшая это наука. Роман — мальчик хороший. Его обвести вокруг пальца — пара пустяков. Хоть девицам, хоть бабушкам. Он всем верит. Конечно, его жалко: как он кидается ей,

Лене навстречу и в пачке роется сам, Лена ему дает, потому что письмо-то в кармане. Жалко... Но, значит, надо ему пострадать, раз так считает бабушка. Очень умная у них семья, зря они ничего не делали бы. Предусмотрительные. Вот и сейчас: уложили бабушку в постель заранее, до инсульта. Лежит в белой постели, в шелковой рубашечке, телефон рядом, яблоки, конфеты, журналов до потолка. А внучек вокруг нее — то сок подает, то лимонадик, то кефир обезжиренный. Да в таких условиях до ста лет можно прожить. До ста пятидесяти. Такая больная жизнь лучше любого здоровья. Она бы, Лена, лично поменялась бы. Вас бы, бабушка, на слякоть с сумкой и нормальным давлением, а меня на ваше место ближе к яблочкам, и чтоб пенсию домой приносили. «Лена, я вас прошу, мне, пожалуйста, только десятками. Я эту купюру больше всего люблю... Она удобна». Лена брала бы пенсию любыми «ку-пю-рами», и рублями, даже металлическими, и пятерками, и полсотню взяла бы, если бы давали.

— Лена! Нет мне письма? — Это Роман вынырнул из подворотни, мокрый весь, несчастный, потянулась у Лены рука к карману («Вот начну отдавать, и что? и что?»), но как потянулась, так и опустилась.

— Смотри, — сказала и протянула Роману пачку без Юлькиного письма.

— Ничего не понимаю, — сказал Роман, — ничего!

Роман в тот день возвращался домой не вовремя. Он расчихался на первом уроке и его отправили домой, потому что на Ленинград шла эпидемия самого последнего наимоднейшего гриппа. И в центральном гастрономе уже торговали в повязках.

В школе Роман сказал: «Может статься, я в понедельник опоздаю. Я в Москву на воскресенье поеду». Молоденькая учительница-первогодка, которая знала всю предшествующую историю со слов тетки («Понимаете, надо было спасать. Ах, эти любви... один смех... И девочка, скажу вам честно, не та... Не той семьи...»), всполошилась. А когда Роман зачихал на первом уроке, обрадовалась. Грипп! Кто же его, сопливого, выпустит из дома? Уложат как миленького с медом и градусником, и никакой Москвы. Будучи совсем молодой и тоже влюбленной в слушателя военно-медицинской академии, учительница по-человечески, по-женски Романа понимала и была убеждена, что «если это любовь», то все равно ничего не поможет, никакие уловки. И по молодости даже желала победы любви. Но, став учительницей, она

посчитала правильным отделить все человеческие чувства (трепетные, сочувствующие и нелогичные) от тех, которые были необходимыми в работе (твердые, принципиальные, последовательные). Поэтому сочувствие сочувствием, а правильное мальчика уложить. И, отправив Романа домой, она стала звонить бабушке, чтоб рассказать о возникшем у него желании ехать в Москву и о выходе из положения, который подсказывал грипп. От повышенной мозговой деятельности у молодой учительницы разгорелись щеки, и она все никак не могла правильно набрать номер телефона. Все время попадала почему-то в кулинарию. А потом все было занято, занято. Когда Роман поднимался по лестнице, он уже знал: у него температура. И знал, когда это началось. Не в классе. А вот только что, когда он понял, что письма от Юльки и сегодня нет. Тогда-то он и почувствовал озноб... «Надо, чтобы бабушка этого не увидела», — решил он. Теперь, когда он твердо знал, что поедет, он даже перестал волноваться. Он поедет в Москву и пойдет к Юльке прямо с поезда, пусть это будет очень рано, пусть... Главное — сразу ее увидеть. Увидеть и убедиться, что она жива. Вчера он как последний идиот думал, что она умерла. Попала под машину. Наступила на оголенный провод, провалилась в открытый люк. А милые родные решили не сообщать ему это, чтоб уберечь, не волновать. А могла Юлька лежать и в больнице, с тем же самым гриппом. Теперь, говорят, всех кладут. Могло быть и самое простое — перелом правой руки. Юлька всегда так неловко спрыгивает с брусьев и падает прямо на правую руку. И сейчас, поднимаясь домой, он думал об одном: надо скрыть, что у него температура. Бабушке надо заморочить голову, почему он пришел раньше. Сказать, что заболел физик. Роман открыл дверь своим ключом и прислушался. Бабушка болтала по телефону. Голос у нее бодрый — слава Богу,

— только была в нем какая-то удивившая его странность. Роман заглянул в спальню — она была пуста. Бабушка на ногах? Но ведь ей не ведено вставать. Вон из-под свисающей простыни торчит ручка горшка. «Увы! Иначе нельзя», — сказала ему тетя. Роман пошел на голос бабушки и тут же ее увидел. Она сидела на кухне, задрав ноги в пушистых тапочках на батарею. На подоконнике стояла бутылка чешского пива, которое бабушка сладострастно потягивала, одновременно разговаривая. Вот почему голос показался необычным. Курлыкающим. И сигарета на блюдечке лежала закуренная, и кусок

холодной говядины был откушен, а на соленом огурце прилипла елочка укропа. Весь этот натюрморт с бабушкой был так солнечно ярок, что естественная в подобной ситуации мысль — бабушка бессовестно нарушает больничный режим — просто не могла прийти в голову. Она исключалась главным — пышущим здоровьем. А бабушка курлыкала:

— Дуся! Во мне погибла великая актриса. Уверяю тебя. Я полдня в одном образе, полдня в другом.

— Бабушка, — сказал Роман, — ты не актриса, ты Васисуалий Лоханкин.

Он видел, как брякнулась на рычаг трубка, как стремительно взлетели с батареи опущенные кроликом тапки, как пошла на него бабушка со стаканом пива, а на стакане улыбалась лошадиная морда.

Роман вдруг испугался. Испугался слов, которые она сейчас скажет, дожевывая кусок говядины. Он побежал в комнату тетки, самую дальнюю, имеющую задвижку, а бабушка побежала за ним. Тут-то и зазвонил телефон. Роман не знал, что это наконец прорвалась через все «кулинарии» и «занято» его молоденькая учительница. Что в эту секунду она, пылая вдохновением, ведаёт бабушке о его желании поехать в Москву, а также и о том, что его надо уложить, уложить, уложить. Роман не слышал, как бабушка отчитывает ее, что она не могла позвонить раньше, обвиняет ее в нерасторопности.

Роман бегал по теткиной комнате. Все еще виделся этот натюрморт с бабушкой. Огурец Вырос до размеров большого кабачка и все тыкал в него укропом. От розовой сердцевины у говядины рябило в глазах. Значит, она не розовая — разноцветная? А тут еще пена от пива густая, шипящая и горячая, как из бани, почему? Бабушка — Васисуалий Лоханкин? «Я к вам пришел навеки поселиться...» Кто пришел поселиться? Куда пришел? И почему навеки?

А бабушка уже властно стучала в дверь, и голос ее был уже без пива и мяса.

— Открой, и поговорим, — ласково журчала она. — Ты поймешь, что мы были правы. Есть ситуации, когда помогает только скальпель... Это говорил кто-то из великих... Ты меня слышишь? Открой, я тебе объясню популярно, на пальцах.

Роман ухватился за край стола. Голос бабушки доставлял ему физическую муку. Так не бывает, думалось, не бывает. Не бывает. Не

бывает, чтобы голос дырявил.

— Ты должен и будешь знать правду, — уже кричала бабушка.

«Она заговаривается, — думал Роман, — она хочет сказать — ложь?..» Очень кружилась голова, и он ухватился за стол. «А! — подумалось. — У меня, кажется, поднимается температура».

— Порочная семья и порочная девка! — кричала бабушка. — И мы всем миром не допустим.

«Миром — это крепко сказано, — горько засмеялся Роман. — Вязать меня, вязать...»

Бабушка гениально приняла телепатеку.

— Мы тебя повяжем! — трубила она. — Вережками, цепями... Но мы спасем тебя, дурака, от этой девки!

И тут только, произнесенное дважды, слово обрело смысл и плоть. Девка — это Юлька. Его малышка, его Монголка, его воробей — девка?!

— Да, да! — телепатировала бабушка. — Именно она. Ты думаешь, она тебя ждет? Миль пардон, дорогой внук! Может, она пишет тебе письма?

Роман вдруг остро ощутил: это конец.

Дальше *ничего не может* быть, потому что писем не было на самом деле. Что значила вся бабушкина ложь по сравнению с этой правдой? И тогда он открыл ящик стола. Там издавна лежал дядькин пистолет, именной, дареный — «реликтовый» называл его дядька. И Роман всегда смущался, потому что дядька путал слова — «реликтовый» и «реликвия». Роман дернул ящик. Вот он холодный и блестящий. А бабушка выламывала дверь. Она кидалась на нее с такой силой, что со стены свалилась какая-то грамота, свалилась и жалобно мяукнула. Роман вынул пистолет. Примерил к ладони — как раз!

«Какой глупый выход», — сказал он сам себе. И то, что он признавал глупость, — удивило. «Скажут — состояние аффекта, — продолжал он этот противоестественный анализ, — а у меня все в порядке. Просто я *не могу* больше жить. Я не знаю, как это делают...» «Ах, какой великолепный дурак!»

— сказало в нем что-то... «Тем более, — парировал Роман. — Дураков надо убивать... Она не виновата, что не пишет. Человек не может быть виноватым, если разлюбил...» Он тоже не виноват, что никогда, никогда, никогда не сможет жить без нее... Как все просто! И

ему захотелось плакать оттого, что у его задачи одно-единственное решение.

А дальше было вот что. То ли Роман качнулся, то ли уж очень старым был стол, то ли пришли на помощь силы, не доказанные наукой, но случилось то, что случилось.

Скрипнул освобожденный от привычного груза пистолета ящик и просто-напросто выехал из стола. И будто наперегонки двинулись из его глубины буквастые, надорванные Юлькины конверты. Так смешно и густо они посыпались.

— Юлька! — прошептал Роман.

Он читал их прямо с пистолетом в руке, все, залпом. Он засмеялся, когда она передала ему привет от Сени и Вени. Он испугался, что «ей все, все равно, раз он не, пишет». Он обрадовался, что дождь висит над городом, а значит, она не осуществит свою идею — прилететь самолетом. Он сам, сам приедет к ней. Завтра.

Он был счастлив, потому что все обрело смысл, раз были, были письма и были они прекрасны. Вот тогда он испугался того, что мог сделать.

И почувствовал головокружение, представив это. Он начал заталкивать письма в куртку и не мог понять, почему ему неудобно это делать. Потом сообразил — это пистолет, который он продолжает держать. Снова подумал: какой я идиот, если бы *это* сделал! И он положил его обратно, осторожно положил, как бомбу.

Теперь осталось уйти. И тогда он осознал, что ему не пройти мимо старухи (он так и подумал: старуха), не вынести ее вида, ее голоса, ее запаха. Значит, ее надо обмануть. Он знал, как...

Он только не знал, что бабушка звонит в школу, зовет на помощь учителей, что там уже всполошились, что молоденькая классная руководительница второпях сломала молнию на сапоге и бежит к нему в высоких лодочках, бежит по холодным лужам с одним-единственным желанием помочь ему — вплоть до денег на билет в Москву. «Нельзя иметь принципы для себя и для других», — сформулировала учительница тезис и припустила бежать быстрее, потому что ей было стыдно, стыдно, стыдно...

А Роман рванул уже заклеенное на зиму окно и посмотрел вниз. Даже присвистнул от удовольствия, что уйдет так, минуя дверь и голос. Раз — и прямо на свободу. Он встал на подоконник и

спружинил колени. Третий этаж — такой пустяк. Он, как крылья, расставил руки, а сумку перекинул на спину. Третий этаж — ерунда. А газон, который он себе наметил, все равно осенний — грязный и мокрый. Не страшно истоптать снова. И он присвистнул, прыгая, потому что был уверен. Третий этаж — пустяк.

Он ударился грудью о водопроводную трубу, которая проходила по газону. Из окна ее видно не было. Но, ударившись, он встал, потому что увидел, как по двору идет Юлька.

— Юль! — крикнул он и почувствовал кровь во рту. И закрыл рот ладонью, чтобы она не увидела и не испугалась.

Она подбежала, смеясь:

— Что ты делаешь на газоне?

— Стою, — сказал он и упал ей на руки.

А со всех сторон к ним бежали люди... Как близко они, оказывается, были...

Содержание

[Галина Щербакова Вам и не снилось](#)

[1](#)

[2](#)